

Лазарь Карелин

ПРО СОВЕТСКИМ РАБОЧИМ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Карелин Лазарь Викторович

Даю уроки

Роман

1

Не верилось, что все, что происходит, происходит с ним. Человек, не обученный падать, падает всегда неловко, что-то там непременно ушибая в себе. Обученный падать падает легко и просто. И глядеть легко, как он шариком катится. Упал, вскочил - и все дела. Но сколько нужно науки, чтобы суметь стать шариком, чтобы, падая, суметь покатиться. Он не прошел этой науки. Его тренировали, чтобы крепко стоял на ногах, а никак не падал. Его тренировали, натаскивали на успех, а не на неудачу, ведь падение - неудача. Ошибка: надо тренировать на неудачу. На боль. На отчаяние. На утрату. Нет, на утраты. Господи, как умен этот затасканный призыв: хочешь мира, готовься к войне! Хочешь счастья, не беги от горя. Да таких быстроногих бегунов и нету, которые могли бы убежать от горя. Оно каждому дано. Когда-никогда, нагрянет. И тогда...

И все же не верилось, что все, что происходит, это с ним происходит.

ТУ-154, вполне солидный самолет, летающий и за границу, могущий потягаться и со всякими там "боингами", - он знал людей, европейцев, штатников, которые предпочитали ИЛ-62 и этот вот ТУ американскому "боингу", заносчивость которого их раздражала. Он и сам не любил заносчивых самолетов, отлетав на разных и порядочно много, поняв, что перед богом в небе глупо нос задирать. Так вот, этот самый ТУ-154, славный и плавный, принес его и высадил на эту самую землю, и лишь только высадил, как выяснилось, что тут пекло, просто пекло, что тут нечем дышать. Жить тут? Да тут дышать нечем! Дышать!

Между тем аэродромный автобус, сразу же заполнившийся потными телами, покати к недалекому зданию аэропорта, на флагштоке которого безжизненно повис аэрофлотский вымпел, выцветший от яростного солнца, исхлестанный, как боевое знамя, налетающим из близкой пустыни жестоким песком. Да, да, совсем рядом была пустыня. Не шуточная, Каракумы, а это в переводе означает Черные пески. Вот он куда попал! К черным пескам прикатил. Точнее сказать, докатился до оных. Но был ведь и у Сахары. Был и в знойном Египте. Изнывал от жары в Кувейте. То все иное, тогда было все иным. Настолько иным, что боль терзала мозг, когда позволял себе вспомнить что-либо из недавних тех дней. Из недавних! Боль взорвалась в нем. Он запретил себе вспоминать. Чуть только начинал, как боль, просто боль, будто кто ударил по вискам, по глазам, обрушивалась на него, как обрушивается на свою жертву заступивший черту каратист. Как отбиться, укрыться, отгородиться от этих жестоких, коварных, внезапных ударов? Он научился вроде бы. Научился ввергать себя в безмыслие. Вот так вот, движется, что-то делает, а мыслей нет. О чем-то даже думает, а о чем - не понять. Нет мыслей. Сжался, отбил. И сейчас, в автобусе, притиснутый потной, рыхлотелой женщиной к стенке, - так жарко ей было, что уж и не чувствовала, что вжалась в мужчину, - он отбил, запомнил. Боль отвалила. Взмок весь. И женщина все более взмокала. Их пот смешался. Он сказал ей, улыбнувшись, примерив к губам самую свою расчудесную улыбку, а он был мастером улыбаться, обучен был и природой наделен, он сказал ей, выползая из отчаяния к озорству, что ли:

- Будто полюбили друг друга...

- Что? - Она не поняла его. Из-под губы с усиками мелькнули траченые золотые коронки. Но тотчас и поняла и рассердилась: - Зачем сам прижимаешься?!

Они попытались разъединиться. Где там! Автобус утрясал их на бетонных швах, зной изнурял миг за мигом все больше.

- У вас тут всегда так? - спросил он, стараясь удержать в губах улыбку, но, наверное, жалкой она была, вымученной.

- Случается и жарче. - Бывалой она была, эта толстая женщина, сверкнули чертенята в ее глазах, в черноту ли, в сизину, еще молодых. - В командировку к нам?

- Насовсем.

Сказал и обмер: а ведь это так, он насовсем сюда. Насовсем!

- Не горюй. У нас тут хорошо.

- Я уже понял.

- Ничего ты не понял. Зачем так улыбаешься, будто плакать собрался? Женат? Если нет, повезло тебе. У нас тут невесты замечательные. Женись на армянке, советую. Нет лучше жены, чем армянка. Еще живут устои. Между прочим, я сама армянка.

- А я думал, туркменка.

- Думал! Смотри, все туркменки пешком идут от самолета. Их мужья и братья им головы оторвут, если увидят в такой тесноте с незнакомыми мужчинами.

- Еще живут устои? Кстати, и в Кувейте тоже. Там и лица у женщин закрыты.

- Было и у нас. На базаре и сейчас можно встретить. Разбежались?

Автобус остановился, двери расползлись. В зное этом, оказывается, жил все же свежий ветерок, и он сейчас пробежал по взмокшим лицам.

А тут было все как у людей. Вполне внушительное здание аэропорта открылось глазам. Стекло, стекло - и здесь стекло, хотя здесь бы, чтобы хоть как-то укрыться от солнца, каирские, кувейтские, алжирские нужны бы были стены, эти стены-ниши, средневековый ужим окон, когда кажется, что здание прищурилось на солнце, рукой-козырьком прикрыв лицо. Нет, тут было стекло, стекло, будто поплавившееся, в ажурных разводах. Немудрено и поплавиться. Оказывается, и еще может быть жарче, обманул ветерок. Но в жаре этой, в зное, в пекле жил какой-то особенный воздух. Вокруг на клумбах много было усыхающих роз - нет, не от них, не розовой квелой сладостью он был пропитан. Асфальт истаивал - от него этот дух? Нет, воздух пах не асфальтом. Догадался: воздух пах пустыней. Горьковатый, строгий, завлекающий дух пустыни, тех самых Черных песков, витал тут. Серьезное местечко, когда так пахнет воздух. Посреди океана, в Атлантике, где громадный пароход кажется шелушинкой, когда выйдешь на палубу, на нос корабля, когда ветер не сильный, вдруг услышишь ты, учуешь этот запах громадного тела, этот звериный запах океана - тоже строгий, даже грозный и тоже завлекающий. Что - человек? Песчинка, затерявшаяся в океане, или вот - на самом краю великой пустыни. Зачем, человек, тебя все носит и носит, вот сюда занесло - в эти нештучные места? А потому и занесло, что ты - песчинка.

За загородкой, в толпе встречающих, он сразу углядел своего институтского дружка, самого у них на курсе добрейшего из добрых, которому все всегда поверяли свои беды, к которому и

сейчас обратился, ища помощи. И тот помог. Нашел тут работу, да, тут, на краю пустыни, в этом зное, а все же работу, вызвал телеграммой, в которой было столько слов, что показалось, есть в нем нужда, и вот встречается, не одну, а обе руки воздевает к небу. Друг единственный, как оказалось. Столько их было, не счесть было институтских друзей, а выходит, один остался. Все прочие - где они? Боль, боль, опять эта боль, пострашнее этого пекла. Сжался, кинулся навстречу другу. И тот уже бежал навстречу. Обнялись, обжигаясь друг о друга.

- Ростик, ты?! Едва узнал! Идет в толпе молодой Джеймс Бонд! Словом, элита!

- Я, я это, Захар. Спасибо, что встретил.

- Да ты что?!

- Спасибо, спасибо.

- Да ты что?! Я просто весь пою от счастья. Ростик Знаменский прибыл в наши Палестины! Сам Ростислав Юрьевич Знаменский! Краса и гордость... Эталон обаяния...

- Все в прошлом, как ты знаешь.

- А вот и нет! Турнули? Кабы не был виноват, тогда бы действительно было обидно. А ведь виноват?

- Виноват.

- Ну, а тогда действуй по законам цирка.

- Как это?

- А как канатоходец. Сорвался, повис - лезь опять. Номер надо повторить, арену нельзя покидать неудачником.

- Эх ты, цирковых дел мастер. Милый ты человек, Захар, легко с тобой. Но чего это ты тройку натянул? Ведь испечешься. Ради меня?

- Ради протокола. Забыл, что я дипломат? Учти, по сути, в ранге заместителя министра иностранных дел республики.

- И такая персона меня встречает! Меня, человека, по сути, в ранге нуля.

- В ранге друга, сэр.

Они встретились в толпе, но теперь толпа сместилась к круглому навесу, куда должны были привезти чемоданы, их еще долго надо будет дожидаться, томясь в этой жаре, но эта жара и потом никуда не денется, она будет и в машине, она будет и в гостинице, она не уйдет и вечером, не исчезнет и ночью. Не повернуть ли назад? Как это его угораздило согласиться на работу в таком пекле? Выбора не было, дружок, выбора не было. Теперь часто ты будешь принимать решения не потому, что так вот решил, а потому, что выбора у тебя иного нет, иного нет выбора. Но здесь - Захар. Друг, славный малый. Он и позвал, договорился с кем надо, организовал вызов. А выбора не было, выбора не было.

- Пошли к машине, - сказал Захар. - Водителю отдадим твой жетон, и он вмиг притащит чемоданы, вон их уже везут. Давай жетон. О, ты не знаешь еще, что у меня за водитель! Джигит! Озорник! Кудесник по части что достать!

- Туркмен?

- Почему? Алексей. Русский паренек. Ярославский, кажется. Здесь у нас кого только нет, всех городов и весей посланцы. От своего зачина так складывался город. Российские, закавказские, заднепровские, уральские невезуны сбегались. Армяне сюда бежали через Каспий от спровоцированной резни, и тогда же, при царизме, сюда, между прочим, ссылали проштрафившихся армейских офицеров. Пестрое сообщество. Но знаешь, когда ударило горько знаменитое землетрясение сорок восьмого года, убившее половину населения и все тут дома и домишки, а знаешь, ведь не дрогнули здешние жители, не побежали, подняли свой город. И не только туркмены, которым земля эта Родина, но все, все невезуны, бегуны, перекасти-поле. Все! Я уважаю, знаешь ли, местное население. Особый характер у народа. Как-никак, а земля-то под ногами, что ни год, в дрожь кидается. Ну, пока не велика эта дрожь. Пока. А вдруг да лихорадка начнется, очередной припадок? Уважаю я здешний народ. Смелые люди!

- С неба огонь, земля сотрясается - славное местечко.

- Но зато - смелые люди.

- Да, вот и я сюда прибежал.

- Не о тебе речь. Я и не подумал. Ты из другого теста, - засуетился Захар, длинный, нескладный, в наряднейшей, иностранного происхождения светлой тройке. А все равно, как ни наряжайся, а крестьянская родовая широкая кость из любого кроя свой крой покажет. Он был крепко скроен, наш Захар, русоволос, простодушен, простецкий совсем парень, хоть и в ранге чуть ли не заместителя министра иностранных дел. И только глаза, небольшие, тоже крестьянские, - из глубины синева, - только глаза у него светили каким-то таким сильным светом, когда и ум в человеке угадываешь, и надежность угадываешь, а надежность в человеке всего дороже.

Алексей, бойкий, веселый, усмешливый, в черноту загоревший, с глазками в таком прищуре, что не углядеть было, что там в них, - вмиг добыл чемодан Знаменского, притащил, явно гордясь, что они такие заграничные, такие кругосветные.

- А чемоданчики-то, Захар Васильевич! А! Не верил вам, когда рассказывали, а теперь поверил. Знали небошь и "мерседесы", и "шевроле" с "люкс-фордами" в придачу. Заметили, никаких наклеек? Нынче не носят. Кофр по коже, по шрамам на ней свой ранг показывает. И еще вот замки с цифровыми комбинациями. Дипломатические кофры!

Тараторя, укладывая чемоданы в багажник старенькой "Волги", Алексей зорко поглядывал из своих прищуров на Знаменского, устанавливая для себя и его собственный ранг. Ну, чемоданы что надо, а сам каков? А сам этот приезжий, из легенды, между прочим, товарищ, тоже был что надо. Тянул! И дело не в том, что одет во все заграничное. Нынче это не диво. В субботу, на толкучке, за час, если, конечно, повезет, можно раздобыть и эти штанята фирменные, и эту гонконговскую рубаху с погонами, которые, отстегни их, могут рукава держать. Удобная штука. Материальчик такой, что потей под ним сколько угодно, а пот не проступит. Ветерок чуть дунул, а тебе прохлада. Нет, этот тянул сам по себе, хотя и одежда тоже роль играла. Алексей сказал:

- Рубашечка у вас ну прямо для наших мест! В Гонконге брали?

- Какая осведомленность, - улыбнулся Знаменский широко, приязненно, выложил для этого малого, еще не зная, как всякий приезжий, кому как себя подавать, и уже не умея, - в растерянности жил, - оценивать человека с первого взгляда, даже полувзгляда, а умелость эта, наука эта им вроде бы была освоена, и давно. Все разлеталось, потери ощущались по всем линиям, он растерялся перед жизнью и знал, что растерялся. Стал путаться: не то говорить, не так себя вести. Вот улыбнулся этому бараночнику, будто королю Иордании. Господи, а он знал этого короля, седенького такого короля, веселостью и даже озорством не

пускающего себя в старость. Господи, он знал его, был у него в гостях, в громадной машине с ним сидел, куда-то они ехали веселиться... Вспомнил и не поверил себе. Не было этого! Но все помнилось, вспомнилось. Сожженная зноем древняя земля, путь паломников трех религий, близкие горы, могучие деревья вдоль шоссе и улыбчивый, коротко стриженный, седенький мужчина в простейшей, распахнутой на седой груди рубашечке, но это - король, и то, что он король, понимаешь по одному всего перстню на безымянном пальце, по камушку в том перстне размером с голубиное яйцо. Вон дворец какого-то богача на склоне холма и вот этот камушек. Они в одной цене.

- Ты куда смотришь? - спросил Захар. Они уже ехали по шоссе от аэропорта в город, по изнемогшей от жара асфальтовой полосе, пролегшей извивами между домами-новостройками, в которых слепили, будто плавилась, стекла. - Не смотри пока, вот въедем в город, на проспект Свободы, там тебе понравится.

- Не буду смотреть, - сказал Знаменский и поглядел на эти дома-коробки, на землю вокруг, такую же древнюю, как та, еще стоявшая в глазах.

- Не смотри, не смотри, сейчас грянет город.

- Уже успел влюбиться в свой Ашхабад?

- Знаешь, а в нем что-то есть. Привораживает. Многие так считают. Но, конечно, тебе, понаглядевшемуся...

- Мы товарищу покажем такие уголки, - оглянулся Алексей, сверкнув молниями прищуренных глазок, - что... А как вы насчет дам?

- Алексей! - строго одернул его Захар Васильевич, не шутя рассердившись. - Ну бабник, спасения нет!

- Это точно, разные мы, - сказал Алексей. - А в общем-то, все мы бабники. Только один маскируется, тихарит, а другой - душа нараспашку.

- Ты на что намекаешь, это кто же тихарит? - Захар Васильевич даже покраснел от негодования.

- Не о вас речь, Захар Васильевич, начальство вне подозрений. Да вам, дипломатам, и нельзя.

- Что - нельзя? - спросил Знаменский.

- Все нельзя. Закованный народ. А чуть что, на коллегиях.

- Это так, - и усмехнулся и погрузился опять Знаменский. - Это уж точно.

- Дамы, дамы, погубят они нас, - сказал Алексей, старательно крутя баранку, обходил как раз пылящий и зловонный самосвал.

- Это уж точно! - повеселел Знаменский. Нравился ему этот парень. - Но, Алексей, об этом догадались еще задолго до вас.

- А мне какая разница, что кто-то догадался, главное, что я сам догадался. Но поздно. И наука не впрок. Третий раз развожусь.

- Вот такой он у нас, - сказал Захар Васильевич. - Ох, Алексей, займись я тобой!

- А нас учи, не учи, а мы такие, какие есть. Характер - штука железная. Верно говорю,

Ростислав Юрьевич?

- Железо гнется, утверждают.

- Не знаю. Я бы рад согнуться, а смотрю, и опять занесло. Куда, кричу, куда ты меня тащишь?! - это я характеру своему, а он знай себе тащит.

- И затаскивает в очередной шалман, - сказал Захар Васильевич. Погибнет, честное слово. Спасибо, хоть пьет только по выходным.

- А в другие дни водителю нельзя, - сказал Алексей.

- А как же характер? - спросил Знаменский.

- Так я же не пьяница, у меня в другом вопросе катастрофа.

- Ну, понял, ясно. Каждому свое.

- Именно!

А что, если вспомнить, про что они тогда говорили с простейшим и милейшим тем королем, - когда хотел, он был простейшим и милейшим со своими гостями, демократичнейшим был, любил прикидываться, - так если вспомнить, то ведь такой же почти, как с Алексеем-шофером, шел у них тогда разговор. Про женщин, конечно же, и что от них вся морока, и что зарекайся не зарекайся...

- А вот теперь смотри! Город! - торжественно провозгласил Захар. Приехали! - И помолился: - Аллах, пусть будет счастлив сей путник в твоих земных чертогах!

Знаменский глянул. Прямая, широкая улица открылась глазам. Дома за разросшимися кронами карагачей были едва различимы, даль над асфальтом плыла в знойном мареве. Люди, их было мало в этот дневной час, шли по улице, держась поближе к стенам, выискивая тень погуще. Что за люди? Что за стенами этих домов? Он столько видел промельков таких улиц, в стольких успел побывать городах, что улицы и улочки давно слились для него в одну сплошную улицу, а города - большие, маленькие, громадные, - в один сплошной город. Но здесь, среди промелька этих стен и людей, ему предстояло жить, сюда его выбросило на берег.

- Да, приехали, - сказал Знаменский.

И верно, приехали. Машина подкатила к бетонному, в нишах и окнах, зданию, почти такому же, как там, и там, и там, - по всему миру, - на фронтоне которого значилось: Отель "Ашхабад". И рядышком, чтобы и иностранец все понял: "Hotel..."

Машина остановилась, и Алексей королевским жестом повел рукой:

- Прошу, джентльмены!

2

Номерок был маленький, как келья в крепости, не повернуться. Да еще эти хвастливые чемоданы, сразу их бахвальство тут увиделось, в скудном убранстве кельи. Да еще духота такая, что просто впихивать себя пришлось в эти недра, хотя на подоконнике красовался громоздкий ящик кондиционера, который, ясное дело, не работал. И запахи, запахи, весь

букет от недалекой ресторанной кухни, от журчащего всеми кранами туалета, набухшая от сырости дверь которого плотно не притворялась. Когда-то все тут работало, не протекало, затворялось, но пик славы отеля прошел, как и у человека минует молодая пора, и пришла старость, обветшалость. Жить тут? Вот на этой, - тронул рукой, - продавленной и скрипучей койке ночь провести? Мысль эта удручила.

А Захар за спиной, явно гордясь, что раздобыл другу номер в лучшей гостинице города, радужные уже строил планы:

- С месячишко тут поживешь, а потом раздобудем тебе в каком-нибудь тихом частном домике комнату с окнами в сад.

- И чтобы хозяйка кофе умела варить! - подхватил Алексей, утонувший в продавленном креслице. - Лет сорока, не больше!

- Кофе лет сорока? - подхватил игру Захар Васильевич, надеясь хоть как-то развеселить удрученного этим задохшимся номером друга.

- На первое время! - понял свою задачу Алексей. - А потом, при такой-то внешности, товарищ сам найдет себе кофеварку. Но, Захар Васильевич, если по совести, в сорок лет женщина, именно в сорок, ну, плюс-минус три годика, она особенно хороша.

- Это почему же? - морщась, досадуя, что втягивается в подобный разговор, но уж больно убитый вид был у друга, спросил Захар Васильевич.

- Неужто не ясно? Последний вальс, так сказать.

- И практик, и, гляжу, теоретик. Ростик, да не дергай ты этот шнур. Сгорел кондиционер, не загудит.

- Уморился, машина все-таки, - сказал Алексей. - А мы его заменим. У меня тут администраторша в больших подругах. Сейчас, как спустимся, все налажу.

- Наладь, сделай милость.

Поняв, что кондиционер не загудит, поняв, что и окно не распахнуть, да и зная, что в жару такую распахнутое окно мало что даст, Знаменский, как за спасением, кинулся к одному из своих кофров, лихорадочно защелкал массивными, сверкучими замками с колесиками кода. Отмахнул крышку и выхватил, выставил на утлый столик бутылку виски. Ах, какая это была бутылка-красавица! И какой золотистый напиток забвения в ней искрился! А эта белая мирная лошадь, пасущаяся на зеленом, влажном от росы поле, - не этикетка то была на бутылке, а картина, произведение искусства, чтобы вострепелась изнывшая душа.

Стаканов в номере не нашлось, были лишь пиалушки. Ничего, можно и из пиалушек. Торопливо отвинтил Знаменский покорно-хрусткую крышечку, торопливо забулькал в пиалушки золотистую влагу. Проник, вступился в беспросветную духоту свежий ветерок, дуновение это с зеленого поля проникло.

- Поехали, друзья! - Знаменский не стал ждать, чокаться там, жадно приник к пиалушке.

- Спятил?! В такую жару виски! Надо бы разбавить! - Захар Васильевич из солидарности взял со стола пиалушку, но вертел в руке, не решаясь пригубить.

- Спятил! Вот именно! - Знаменский уже подхватил бутылку для новой порции, но еще не начинал наливать, а вслушивался в себя, в тот пожар в себе, который сейчас должен был выжечь в нем отчаяние. И потихонечку, потихонечку разгоралась на его лице улыбка. Засмотрелся на этого человека Алексей, на улыбку его разгорающуюся.

- Понял, улыбка! - сказал Алексей. - Я мигом, я сейчас! - Он кинулся к двери, обернулся: - Нельзя мне этого напитка, баранка держит! Но последний вальс я ради вас станцую хоть с Бабой Ягой! - И исчез.
- Влюбился, - сказал Захар Васильевич, продолжая вертеть в руке пиалушку, не решаясь пригубить. - Ты это всегда умел, в себя влюблять.
- А вот себя разлюбил. - Знаменский снова глотнул, разом, одним глотком.
- Да разве виски так пьют? - ужаснулся Захар.
- Иногда с самим собой просто невыносимо оставаться.
- Расскажешь?
- Расскажу. Тебе - обязан. Да ты разве не знаешь? Слухи-то быстрее скорости звука.
- Слухи - они слухи и есть. Врет часто эта информация.
- А, чего там, все правда, хуже не придумаешь! - Стал пьянеть Знаменский, прихватило его виски, помогая самого себя казнить, вот так вот небрежно рукой взмахнуть: мол, все пропало, чего там, но помогая и душу излить, не держать в себе свою беду, разговорить ее, разболтать даже - чего там? - нате, слушайте.
- Может, отложим разговор? - Захар поставил пиалушку, так и не решившись отпить хоть глоток. - В такую жару что за разговор?
- Пьяной исповеди испугался? Я не пьян, Захар, меня не берет, рекорды начал ставить по этой части - не берет. - Знаменский снова налил себе, снова одним глотком, мучительно напрягая горло, выпил. И даже не отдышавшись, на выдохе от огненного глотка, выдохнул: - Проворовался я, знаешь ли.
- Так это называется?
- А по слухам как это называется?
- По слухам, ты растратил три тысячи долларов, которые тебе выдали на приобретение служебной машины. Кинулся у кого-то одалживать. Одолжили, да не те. Вот как по слухам. Детали мне неизвестны.
- Детали! Три тысячи долларов я проиграл в гостиничной рулетке в Каире. Играл и раньше. Часто везло. Втянулся.
- Это худо.
- Вот, вот, это худо. Ты "Амок" Стефана Цвейга читал? Что поделаешь, втягиваются люди.
- Литературные ассоциации, Ростик, всякие возможны. Раскольников старушку убил. Но зато князь Мышкин...
- Ладно, к чертям ассоциации. Ну, сходило, поигрывал, всегда был уверен, что далеко себя не пушу. Да три тысячи - разве это деньги? Думал, что перехвачу у кого-нибудь. Там, когда там долго проживешь, как-то все проще представляется. Вокруг-то не наша жизнь, а ты живешь не дома, а там, в их воде плаваешь.
- Ну и как же ты извернулся? Перехватил деньжата у их разведчиков?
- Прикинулись приятелями.

- Ты что, рядовой-необученный?

- Не кори меня, Захар. В теории так, а на практике - эдак. Подвернулись, двое их было, посочувствовали, выручили. Да и что за деньги? О чем разговор, Рони? Меня там так звали, Рони да Рони.

- А у нас Ростик да Ростик.

- Да, да, все в Ростиках хожу. Даже когда исключали из партии, часто Ростиком называли. Как думаешь, в чем дело, почему я, до тридцати двух лет дожив, все в Ростиках хожу?

- Располагаешь. Славный парень, сразу видно.

- Не то говоришь. Вот ты Чижов, тебя бы Чижиком звать, а никогда никто в институте так не называл. Чиж - бывало, а Чижиком - нет. Может, в школе?

- И в школе - Чиж. Да и какой я Чижик, не располагаю.

- Не то говоришь. Ты не хмурься, я еще глотну. Горит голова. Знаменский снова налил себе, снова поднес пиалушку к губам, но вдруг судорожно отвел руку, расплескав виски. - А, не поможет! И вот поймали меня! Потребовали вернуть деньги немедленно. Расписка, протокол. Попытка завербовать. Ну, как маленького! - Эти слова стоном вырвались. - Как новичка! Туристика!

- Почему как маленького? Все логично. Смотрят, попивает советский журналист.

- Все там пьют, о чем ты?

- Поигрывает в рулетку.

- Я не был тут исключением.

- Контактный сверх меры.

- А бывают контактные чуть-чуть?

- Ну, словом, Ростислав, они шли за тобой. Они тебя вели. Так, кажется, это называется? Помнишь, у нас даже целый курс был, правда факультативно, о приемах вербовки?

- Чепуха все эти лекции! Нет, я все же выпью! Или принять душ?

- В самую жару, пожалуй, не стоит. И воду днем не пей. Да ты знаешь, что наше пекло, что ихнее. Но ведь ты на вербовку не пошел, погнал их? Это-то не слух, это так?

- Так. Вырвался, отбил, да, да, отбивался, рванул в наше консульство и с первым же самолетом - домой. Но... Но шум, огласка, пресса, - я и у рулетки был сфотографирован, - расписка эта, три тысячи долга. И кому!.. Словом, вон из партии, вон с работы, вон, собственно говоря, вообще. Считаешь, справедливо обошлись?

- Трудный вопрос, Ростик. Но я отвечу: справедливо. По сути, ты был близок к измене Родине.

- Громко, не слышу!

- Да, да, к измене Родине.

- Но я отказался, отбил!

- Близок, сказал я, близок.
- Полагаешь, мне теперь нельзя верить?
- Теперь ты громко заговорил. Доверие! Громкое слово. Оно как зал пустой, гулкий зал. Его надо еще заполнить - этот зал.
- И чтобы те, что займут ряды, мне поверили?
- Да. Чтобы пришли и чтобы поверили.
- Здесь, в этом пекле, и предстоит мне завоевывать доверие?
- Какая разница где?
- Но ты меня вызвал. Почему? Из жалости? Или, может, чтобы самоутвердиться? Вот, мол, кем был Знаменский, всех обогнал, а теперь... Нет, прости, это не про тебя.
- Не про меня. Вызвал, потому что всегда считал себя твоим другом. И хватит об этом. Нам еще нет тридцати трех, Ростик, Илья Муромец в нас еще на печке сидит. Как жена?
- Пока не понял.
- Как твой тесть-министр?
- Пока не понял.
- А мама?
- Хватит! Хватит об этом!
- Прости. Поговорить было надо, но и все, теперь все. Поверь, Ашхабад замечательный город. Черт его знает почему, но замечательный. Пекло? Оно всего пять месяцев в году. Но зато потом... Меняй рубаху, и покатым ко мне. Каких я для тебя дынь раздобыл, какой виноград! А моя Ниночка, знаешь ли, стала просто мастером восточной кухни. Ждет тебя! Ну, ты еще когда ее покорил! Вчера в парикмахерскую бегала. В сорок два градуса! О, женщины!
- А тебе не повредит, Захар, дружба со мной?

Стало тихо в комнатке. С улицы пришли звуки. Млели где-то в тайниках какие-то квакающие существа. Вечен этот звук на Востоке - на Ближнем ли, на Среднем ли, вот и в Средней Азии. Где затаились эти квакуны в асфальтовых и бетонных недрах - не понять, но вскрики их звучат и звучат, будто исходят от самой земли.

- Тихо говоришь, не слышу, - сказал Захар.
- Чуть ли не предатель, исключен из партии.
- Не слышу, не слышу тебя.

С грохотом распахнулась дверь, и, пяясь, с поклонами, ввел Алексей в номер стройную, строголикую туркменку в красном платье-тунике. Не первой молодости женщина, но величава была ее еще не избывшая красота, короной казалась замысловатая прическа, выложенные торжественно две косы. Но главное, что прохладой веяло от этой женщины, никакой, ну, никакой не испытывала она жары.

- Вон они у нас какие, - сказал, залюбовавшись, Захар. Он поклонился. Рады вам, рады.

- Салам, салам, - деловито сказала женщина, быстро глянув на Знаменского, на дорогие его чемоданы. - Так что тут у вас? Вот товарищ, она небрежно повела царственной, в браслетах, рукой на Алексея, - вот товарищ жалуется... Вполне приличный, между прочим, номер.

- Так ведь кондиционер же тью-тью, дорогая Айсолтан! - взмолился Алексей.

- В трехрублевых номерах кондиционеры почему-то всегда тью-тью, - чуть улыбнулась дорогая Айсолтан. На своего приятеля Алексея она не обращала никакого внимания, даже как-то подчеркнуто не обращала, неинтересен ей был и этот нескладный в ладном костюме высоченный русский, ее заинтересовал лишь вот этот вот, с разгорающейся восхищенной улыбкой на лице, товарищ. В нем что-то было, что-то такое, что приобвыкшей в отельной службе к самым-рассамым экземплярам мужской породы Айсолтан показалось интересным, примечательным, заслуживающим хотя бы двух-трех пристальных, из-под ресниц фотографирующих взглядов.

- Милая, дорогая Айсолтан, - сказал Знаменский и сложил ладони, как это делают на Востоке, умело, привычно, поклонившись без подобострастия, но только потому, что перед такой женщиной невозможно было не склониться, пусть даже она всего лишь администраторша гостиницы, а он, может быть... - Ханум! Но тут дышать же нечем!

Она задумалась, взглядывая сквозь густые ресницы. Там, за ресницами, в ее агатовых зрачках затеплилось сочувствие.

- Зачем такому человеку такой номер заказал? - спросила она Захара. - У меня два "люкса" свободных. Жарко, начальство не едет.

- А такой человек приехал! - подхватил Алексей.

- Я как-то не подумал, - смутился Захар. - Ну, номер как номер. Не на гастроли приехал. - Он подошел к Знаменскому, спросил, шевельнув в шепоте губами: - Потянешь?

- Потяну. А здесь ноги протяну. Выбора нет.

- Вот, вошла женщина - и пришли шуточки да прибауточки, - усмехнулся Захар. - Да, ты все тот же.

- Не просто женщина, Захар, а дорогая Айсолтан.

- Тогда вопросов нет, перебирайтесь в угловой номер на этом же этаже, сказала администраторша, водворяя строгость на своем чуть только помягчевшем лице. - Алексей, ты знаешь, куда нести чемоданы. - И удалилась, плавная, царственная, еще раз убедившаяся в своей власти над смешным этим мужским племенем. А это чувство, что ни говори, женщины не устают в себе подкармливать.

- Ты заметил, услышал, как она русские слова произносит? - спросил Захара Знаменский. - Акцент ее туркменский, мягкое "л", напористое "р" и часто "ю" вместо "у". А вместе - какая-то загадочность входит в обычную казенную и скрипучую фразу. Загадочность и даже женственность.

- Все такой же, такой же, - покивал другу Захар. - Алексей, твои связи сработали, перебираемся.

- Обычное, самое первое лингвистическое наблюдение, - сказал Знаменский. Он закрутил крышку у бутылки, глянув на свет, много ли еще в ней полощется забвения, поспешно сунул бутылку в чемодан, отделяваясь, с глаз долой, и, подхватив чемодан, кинулся из удушья номера в коридор.

- Куда бежать?! Дышать же нечем!

- Следуйте за мной, сэр!

С двумя чемоданами в руках Алексей бегом припустил по длинному коридору, а Знаменский не отставал.

И вот они уже стоят посредине довольно большой комнаты, замерли, вслушиваются. Да, гудит, гудит тут кондиционер. Но не в звуке дело. Тут ветерок повеваает, тут прохлада угнездилась. Бог мой, какое это чудо прохлада! Как спасшийся от огня, как выскочивший из горящего дома, стоит, замерев, Знаменский и дышит, дышит, просто дышит.

- Да, тут совсем другое дело, - сказал Захар, нарушая молитвенное молчание.

- Две комнаты - раз, кондиционер японский - два, цветной телевизор, телефон, - перечислял, поворачиваясь локатором, Алексей. Он потрогал диван, присел на пробу в креслице. - Мебель югославская с подбросом. Житуха, Ростислав Юрьевич! Набор посуды! Рюмочки-бокальчики! В выходной к вам в гости напрашусь с сопровождающими лицами. Примете?

- Пренебреженно!

- А потянешь? - спросил Захар. - Рублей семь-восемь в сутки.

- Деньги есть, вот как раз деньгами меня снабдили, - сказал Знаменский и разом все вспомнил.

3

Захар Васильевич Чижов жил неподалеку от гостиницы, тут все было неподалеку, особенно если ехать на машине. Квартиру Захар унаследовал от своего предшественника, уехавшего на другую работу, так сказать, с концами, то есть с семьей и без брони на служебную квартиру. Повезло Захару Чижову, поскольку его предшественник жил тут долго, дом свой обиходил. Да что дом эти три комнаты, выгороженная половина одноэтажного особняка, - главное было не в доме, а в небольшом совсем, но сказочно возделанном участке, отгороженном высоким дувалом, как тут и полагалось, в этом воистину рае, прильнувшем к террасе и окнам, где росли, уже желтея плодами, абрикосовые деревья, старая черешня росла, жаль, уже обобранная, но еще набирали цвет в синеву два сливовых дерева, но всюду - и на опорах, и на шпалерах - зеленел, желтел, розовел, натекал в матовую багровость виноград. И журчал крошечный фонтанчик, убегая струей в тень деревьев, где можно было укрыться от зноя, там сама тень казалась прохладной. Солнце и здесь, конечно, царствовало, но здесь оно царствовало благожелательно.

На раскладных парусиновых стульях, вокруг укрытого ломкой, крахмальной скатертью стола, на котором сейчас воцарилась на синем блюде дыня и, кажется, зрим был, струился в воздухе ее аромат волшебный, сидели они институтские друзья, а нет дороже институтской дружбы, сидели два "мгимошника" - Ростик Знаменский и Захар Чижов и его жена Ниночка, "торезовка", то есть студентка в прошлом института иностранных языков, с которым у "мгимошников" была давняя дружба, породненные это были учебные заведения. Все такая же была Ниночка, почти такая же, как и на первом курсе, Ниночка и Ниночка, разве что чуть пополневшая, но это только еще больше красило ее, их Ниночку-блондиночку.

Сидели, молчали. Отвосклицались уже, проинформировали друг друга обо всем и даже о

мелкой мелочи, ни разу не коснувшись главного в их жизни, той муки, той печали, того, что случилось или не случилось у них, для них, а было мужчинам тридцать три почти годика, они были ровесниками, с одного курса, вместе начинали воевать судьбу. А не случилось и случилось многое. Вот не случилось у Нины, - она была года на четыре моложе своего Захара, не случилось у Ниночки сберечь ребенка, их мальчик умер трех лет, в распрямленном, в чужелюдном для русского человека климате той страны, куда Захара Чижова с женой послали работать. МГИМО - это не только престиж и заграничные шмотки, возможность заработать на "Волгу" и кооперативную шикарную квартиру, шикарно же ее обставив. Ошибаетесь, товарищи! Это тропические лихорадки, это яростные москиты, это бездорожье, безводье, безлюдье, а подчас пагубное многолюдье или, точнее, нелюдье. Мгимошники, пижоны, форсуны, с прононсами и сленгами - они солдаты, да, да, они солдаты и часто самого что ни на есть переднего края. И вот тогда... а вот тогда и становится ясным, кто есть среди них кто.

Не случилось Ростикку Знаменскому, не сумел быть солдатом.

Молчали, вспоминали молча, дышали тем воздухом, который был родным от студенческих их пеленок. Трое - это уже мирок, их мирок.

Но, может быть, Захар Чижов был среди них счастливецом? Он ехал, куда посылали. Он не выспрашивал, какой там климат, какое там будет ему бунгало, какой марки будет машина, какой ранг ему установят, велико ли представительство, сколько дадут в валюте, сколько пойдет на книжку. Он ехал, вернее, летел. Он был солдатом, это уж точно. Оpozдал родиться, а то бы был одним из тех, кто крестьянскими своими руками, широкой костью отстояли Москву. Солдат, да, солдат. Но Ниночка вышла за него замуж не любя, с отчаяния, что ли. У юных женщин такое случается. И не у юных тоже. Вот кого она любила, этого дуралея несчастного, этого Ростика, таясь, таясь, никто не знал. Так ли, не знали? И когда он женился на их главной у "торезовцев" царевне, на их Елене Прекрасной, из-за которой шла у "мгимошников" форменная Троянская война, - не он женился, а она его на себе женила, объявив всем, откровенная была всегда: "Мне нужен элитный мальчик!" - вот тогда Нина и вышла за своего Чижа, объявив тоже всем: "А мне нужен надежный!" Не ошиблась, Захар Чижов был надежным человеком, это уж не отнять. И он любил ее, как только может такой человек, однолюб кряжистый. Не ошиблась, это Ленка ошиблась. Вот сидит ее "элита", ее "шляхтич княжеских кровей", убитый, нет, побитый и виноватый. Но как же душа встрепенулась, когда вошел он к ним! Как же нелегко ей не смотреть на него! А что в нем, ну, что в нем?! Все такой же, нарцисс проклятый! А Захар!.. Что - Захар?..

Сидели, молчали "мгимошники", вот тут, на краю грозной пустыни, в райском садике у фонтанчика.

И тут, в глубине этого садика, кто-то квакающе вздыхал, какая-то квакушка-кукушка завелась.

- Ну и кем ты у нас в Ашхабаде будешь работать? - прервала наконец молчание Нина. - Меня зарыли в бумажках. Визы, визы, визы. Сбежать собираюсь. Зовут и туда, и сюда, и даже в университет преподавать английский. Нет, учить - это не для меня. Сбегу к геологам. Вот увидишь, Захар, сбегу. У нас тут, Ростик, везде все время что-то ищут. Нефть, газ, золото, серу. Все время что-то прокладывают. Каракумский канал за тысячу километров ступил, нефтепроводы тянут, дороги, по трубам провели воду в Небит-Даг, а сейчас ведут в Кара-Калу, в сухие субтропики. Представляешь, что там будет, когда туда придет вода? Я побывала там разок. Рай земной! Гранатовые деревья, грецкие орехи прямо над головой. Виноградники, где выращивают сотни сортов, и горы, горы. Ты теперь свободный, Ростик, рвани туда.

- Приграничный, кажется, район? - спросил Знаменский и свел плечи.

- Да, - сказал Захар. Он осуждающе глянул на жену. - Я тебе сбегу! Визы, визы! Кому-то надо и на визах сидеть.

- О, ты человек долга! Вот дал себя загнать в это пекло!

- Кому-то надо и здесь работать. Здесь сейчас боевой участок. И разве нам плохо здесь, Нина?

- Нам не плохо здесь, Захар. - И она тоже свела плечи. - Так куда же его?

- С учетом всех обстоятельств... Прикидывали, прикидывали... И если учесть интересы дела...

- Да ты не тяни, дипломат! - рассердилась Нина. - Куда его?

- Я телеграфировал Ростикю, он знает.

- Подошла работа? - быстро глянула на Знаменского Нина. - Я что-то краем уха слышала и ничего не поняла.

- С учетом всех обстоятельств... - сказал Знаменский, пытаясь улыбнуться.

Теперь ей можно было смотреть на него, она его о деле расспрашивала, и она смотрела, ловя всякий жест, вот улыбку эту жалкую, кляня его в душе и жалея, ненавидя и жалея, - ну что с собой сделал дуралей - ну вот улыбается, жалкий-прежалкий, а все-таки и сейчас красивый, нет, не красивый, не красавчик, а просто смотреть на него приятно, - открытый он, синеглазый, улыбчивый и, если знать, беззащитный. Она многое о нем знала. Она догадывалась, что он из тех, которых ведут за ручку. Мама вела, жена повела, дружки тянули в разные стороны. Но жилось легко, празднично даже, и он не научился вырывать руку. До поры до времени так жилось. А вот теперь...

- Куда же все-таки теперь-то тебя за ручку привели? - спросила она, не умея быть милосердной, так изныла душа, глядя на него.

- Он будет у нас референтом, - сказал Захар. - Точнее, переводчиком. И у нас и в республиканском ССОДе, благо наши конторы в одном здании. Нам и им давно нужен был квалифицированный переводчик и именно мужчина, а не дамочки эти, чик-чирикающие. Восток все-таки сюда тяготеет, Азия здесь. Иной иностранец просто понять не может, как это в его номер входит женщина, а потом по стране с ним мотается. Он начинает, так сказать, вибрировать.

- Объяснил. Смотря какая женщина. У меня бы не повибрировал.

- Но не бить же всех наших гостей по щекам.

- Словом, как я поняла, слуга двух господ?

- А что тут плохого? - Захар весело подмигнул приунывшему другу. - Ты смотрел, Ростик, по телеку пьесу Карло Гольдони "Слуга двух господ"?

- Мы еще в Москве с Леной эту пьесу вспомнили. - Знаменский ссутулился, отвечал не поднимая головы. - Да, да... А все-таки доконало меня это виски. Прав ты был, нельзя пить в такую жару.

- Сейчас отвезу тебя в гостиницу. А хочешь, укладывайся прямо здесь, в саду. Через минуту будет тебе раскладушка. Такой перепад температур, тут и без виски притомишься.

- Нет, нет, я в гостиницу, там, кажется, неплохо. - Знаменский поднялся, развел плечи.

- Представляешь, - глянул на жену Захар, - едва администраторша его увидела, как тут же предоставила "люкс".

- Представляю. А ты как думал? Ведь это же Ростислав Знаменский!

Слова - что слова? - важен голос. У женщин всего важнее голос, каким они произносят свои слова, рождающие часто совсем пустенькие, скользкие фразы. Но - голос.

- Нина, - тихонько окликнул жену Захар Чижов.

- Что - Нина? Трудно ему здесь будет, вот я о чем подумала. Зря ты его сюда вытащила.

- Но здесь мы, его друзья. А где-то же надо ему работать.

- Трудно, трудно ему здесь будет, - сказала Нина, упрямясь и как-то вдруг постарев; вокруг губ, оказывается, у нее множество угнездились морщинок.

Знаменский слушал своих друзей, мужа и жену, молчал. Он в звук отлетевший Нининога голоса все вслушивался, не умея понять, отчего такая тоска на него навалилась, еще безысходнее, еще беспросветнее. Он вслушивался и в эти постанывающие звуки, идущие из глубины сада, из самой земли. Тоскливые звуки.

- Поехали, Захар, - сказал он. - А то и сам доберусь, отвыкать надо от машины.

- Зачем же, пригони сюда свою, - сказала Нина.

- Не подойдет, пожалуй. У меня "мерседес".

- Да, пожалуй, не подойдет. И "люкс" тоже. Я подыщу тебе комнату на частной квартире. Поручаешь?

- С окном в сад?

- И даже на горы.

- Согласен, Ниночка.

- Ты только не горюй, не вешай нос.

- Согласен, не буду.

- А я сбегу. К геологам. Вот увидите!

Знаменский и Чижов вышли за калитку, пошли к машине.

- Не может забыть нашего мальчика, - шепнул Захар, оглядываясь, рукой помахав жене.

И она от калитки махала, вдруг оживившаяся, вытянувшись, откуда-то взявшийся ветер подхватывал ее легкое платье. Она крикнула:

- Ростик, не исчезай! Эй, "слуга двух господ", приходи обедать!

- Да, да, - сказал Захар. - Хоть каждый день, Ростик. Так и заживем. Славно заживем. Верно?

- Верно.

- Что еще человеку надо, когда рядом друг институтский? Ничего больше не надо! Садись,

поехали. Я отпустил Алексея.

- Можно, я сяду за баранку? "Права" у меня не отобрали.

- Садись, правь. Ты, кажется, чуть ли не гонщик?

- Чуть ли.

Мягко стронулась машина, покатила.

И странное дело, чуть взялся за баранку, как отлегло, как разжалась тоска. Но словечко это в него вцепилось: "чуть ли... чуть ли..." - всю дорогу его твердил про себя, прислушиваясь к указаниям Захара, куда свернуть. Вел машину осторожно, как пожилую женщину в танце. Ладони помнили другую машину, - ладони, ноги, спина. На той бы рванул, повиражил бы сейчас, с той он был слит, продолжался в ней. А эта старушка все не туда норовила ступить, что-то тряслось в ней, похоже, она стеснялась гулко-го стука своего затревожившегося сердца.

У гостиницы попрощались.

- Завалюсь сейчас спать. Да сейчас ведь чуть ли не вечер.

- У нас быстро темнеет. Солнце просто падает за горы - и сразу темно.

- Значит, оно у вас тут висит чуть ли не на ниточке?

- Пожалуй, что так. Завтра утром позвоню. Отдыхай.

- Чуть ли... чуть ли... Спасибо, Захар, ты настоящий друг.

- А может быть, чуть ли?

- Нет, ты настоящий.

Расстались.

4

Не пришлось загнать себя в сон, спрятаться от мыслей в безмыслие разных там кошмарных сновидений. Что - кошмары? Он в них отдыхал теперь. Спал и радовался во сне, что совсем ему сейчас будет худо, что догонят, схватят, начнут убивать. Пустяками казались все эти ужасы, кинематографом Хичкока. Он спал, но он знал, что спит, что кошмары эти уводят, утаскивают его от мига пробуждения. Он спал, страхась лишь одного, что проснется. И тогда, все вспомнив, вот тогда и начинался для него кошмар той реальной жизни, в которую его заволокла судьба. Много стал пить, хотя и худо это помогало. Навык мешал. И раньше пил, долго не пьянея, даже слегка бахвалился своей стойкостью. Журналисту-международнику такая стойкость была необходима. Много чего было необходимо в его профессии. И он всем этим обладал с избытком. От бога, что ли? От воспитания, разумеется. От породы?

Не пришлось уткнуться в сон: в холле на этаже, когда брал ключ у дежурной, поглядывая на мерцающий в углу цветной экран, где как раз шла программа "Сегодня в мире" и где так мило, так сдержанно, без всякого нажима вел свой рассказ Борис Калягин, которому тоже было дано и от бога и от воспитания, - так вот, в холле этом, в креслицах перед телевизором, углядел Знаменский сперва двух женщин, молодых, с задранными юбочками - жара ведь! -

да и ноги такие грех скрывать, а потом лукавый глаз углядел, подмигивающий ему. Вскочил лукавоглазый и оказался Алексеем.

- А мы к вам! - подошел круглой походочкой Алексей. - Заждались. Чуть-чуть не рассчитал. Ну, час на обед, ну, час на воспоминания, ну, проводы у калитки, ну, дорога... Короче, тридцать минут у вас там на что-то еще ушло. Мои дамы собрались было уходить.

Дамы тем временем поднялись. Молодые, хотя лица вот подбадривают косметикой, в такую-то жару. Каждая на кого-то похожа, на одну из див эстрадных, а то сразу и на двух и трех - те ведь тоже с кого-то портрет берут. А те - с других, а другие - с иных. А выходит, что у всех у них одинаковые личики, полуоткрытые ротки и растопыренные глазки, жаждущие великолепного какого-то счастья. Вполне милые дамы, что ни говори. Полноногие, стройноногие и почти все на виду, без обмана. Ай да бараночник Алексей!

- Не возражаете? Мы на минуточку. Знакомьтесь. - Алексей тараторил и сиял, поняв, что дамы понравились. - Представляете, как узнали, кто к нам прилетел, так просто повисли на мне, знакомь, и все! Это, Ростислав Юрьевич, наши знаменитые в городе манекенщицы. А как же, и у нас есть! Вот это вот Лара, а это вот Лана. Знакомьтесь, знакомьтесь. Ростислав Юрьевич, приглашаете?

- Разумеется... Буду рад...

У них были потные ладони, пот проступил и на их платьичах, простительно, такая жара! - запах женского молодого пота ударил в ноздри.

Он разглядывал их, но ведь и они разглядывали его. Растопыренными от туши своими глазками приглядывались. Это были зоркие глазки, даром что простенькие личики. Знаменский знал, что женщины зорки. Они и умны, все, просто все до единой, даром что у иной простенькие мыслишки, маленькие желания. Но на свой лад, для себя, если всерьез по жизни, женщины умны, зорки и уж всегда догадливы. Что какая-нибудь стюардесса, что какая-нибудь магнатесса, что эти вот, ашхабадские манекенщицы. Женщины - умны, зорки, от их глаз мало что ускользнет, - Знаменский знал про это, многожды убеждался в этом. Ну-ка, чего они в нем сейчас углядели? Притворяйся не притворяйся...

Он ввел гостей в свой "люкс", где действительно было прохладно, ну, не по-настоящему, машинная это была прохлада, воздух тут чем-то пах, чем-то машинным, как в гараже, но зато прохладно же было, прохладно.

Уходя с Чижовым, он не успел выложить из чемоданов вещи. Три чемодана стояли, будто готовые к отбытию. Подхватил - и прощай, город Ашхабад. А что, он теперь может, никому ведь теперь не нужен. Слуга двух господ!.. Из жалости позвали. Придумали какую-то работенку, в которой нет необходимости. Кооперировались даже, изобретая ему дело. Спасибо, спасибо. А он вот подхватит свои чемоданы - и в аэропорт. Куда? А хоть на первый же рейс. Деньги у него были, денег пока хватает. Лети! Самолет приземлился - сходи. Куда залетел? А какая разница? Деньги есть, паспорт есть. Девушки такие, как эти, ну, похуже пусть, найдутся в любом городе. Ресторан, столик, потом пристанище на день-два - и снова в путь. Свобода! Обрел свободу! Свобода за никому ненадобностью?.. Так? Так!

- У вас неприятности? - спросила та, что была Ларой и была чуток похожа, ну, скажем, на Софию Ротару.

- Громадные.

- Вывернетесь, я за вас не страшусь, - сказала та, что была Ланой и была похожа, ну, скажем, на Валентину Толкунову.

- Спасибо, на добром слове спасибо. Выпить хотите?

- В такую жару?! - хором отказались, соглашаясь, дамы.

Тот чемодан, откуда он добывал свежую рубашку и где была та бутылочка с белой лошадыо на зеленой лужайке, был незамкнут, крышка была откинута, - в том чемодане пестрела всяческая иностранная затейщина, ярлычки всякие высывались, и к ним откровенно тянулись глаза женщин.

- Господи, какими вещами человек упаковался! - вздохнула Лара.

- Говорил вам! - ликовал Алексей, гордясь новым другом.

- Так ведь международник, - сказала Лана.

- В прошлом, - сказал Знаменский и достал "Белую лошадь". - Я весь в прошлом, девочки. Так что...

- За битого - двух небитых дают, - сказала одна.

- Вывернетесь, - сказала другая.

Лара была брюнеткой, раз под Ротару, Лана чуть была посветлее, раз под Толкунову.

А все же то, что вот так запросто явились к нему, что шофер Алексей, водитель служебной машины его друга, посчитал возможным организовать эту встречу, да и чувствовал себя сейчас легко и просто, а все же в этом был знак, горький знак его, Знаменского, падения. Он теперь был ближе к этим вот, а не к тем, кто бы еще с год назад мог наведать его в этом номере, очутись он вдруг по делам службы в Ашхабаде. Да нет, нечего бы ему было тут делать. Но если, ну предположим, что очутился бы, то не эти, не этого круга человечки были бы сейчас здесь. Да, да, уловили, не столько разузнали, сколько почувствовали, что он теперь ихний. Упал. Провалился. Летел, летел и вот шмякнулся. И они, эти вот, пришли на него глянуть, а как же, занято все-таки. И даже утешают его, вникают в его судьбу, - чем не развлечение. И все-таки, а вдруг да и вывернется? Он и сам еще надеялся. Гнал от себя надежду, но все же, все же, но все же. А женщины зорки, они все колдуньи, они далеко могут заглянуть. И эта вот, Лана-Толкунова, сказала, что не страшится за него, что он - вывернется... Просто так сказала, для уюта? Такие женщины, с которыми за час всего можно пройти всю дорогу, от нуля до самых тайных тайн, до той близости, когда сердце на разрыв, - такие женщины трагизм своей жизни в себе ощущают, не из баловства пришли к баловству, и они, такие, слов на ветер не бросают. Щебечут, чепуху вроде несут, руками размахивают, помогая своим словам, которые не всегда легко находят, но слова у них, если вслушаться, вздуматься и в них и в звук самый, они не пустые, не пустяковые, не от светской болтовни и сокрытости. Там, в верхних слоях атмосферы, ему уже порядочно наговорили утешительных слов, но, наговорив, смывались - дружки и подружки, знакомцы и знакомицы, которых было так много. Они смывались, размывались. А ведь многие, очень многие были его повадок люди. И пили, и поигрывали, и с барахлом комбинировали, заступали, заступали черту. Он попался, они нет. В том лишь и разница? Но попался. И нечего себя оправдывать. Он отвинтил крышку початой бутылки, пошел к сверкающему буфету за рюмками.

- Выпьем, друзья! Ну жара, а мы - выпьем, чтобы охладиться!

В этом номере были и хрустальные рюмки и хрустальные бокалы, и они тоненько запели в тонких пальчиках женщин, будто истосковались по женским прикосновениям, ибо в таких номерах редко бывают женщины, - здесь царит чиновная нравственность, когда, может, и хочется, да нельзя. А ему теперь все было можно, совсем все было можно или, наоборот, нельзя было ничего, потому что он пропал, опозорился, ушел в черноту. Но выпить он мог, и

выпить сейчас было необходимо.

Вкрадчиво забулькало виски, изливаясь в подставленный хрусталь, радостно зазолотилось, для хрусталя напитков.

- А запивочка? - спросила Лара, округлив глаза, заглядывая в бокал. Содовую или хотя бы ледок.

Знаменский распахнул стоявший в прихожей холодильник, вдохнул его прелый, машинный выдох, захлопнул дверцу.

- Не включен, сестрички, наш "Северный полюс". А так не рискнем? Между прочим, давно стало модным хлебать виски без ничего. Все - без ничего, ну и виски тем же манером.

- Понять можно, - сказала Лана. - Спешим, торопимся.

- Именно! - Он не стал их уговаривать, поспешно проглотил свою порцию, послушал себя, как там в нем побежало виски, теплое и препротивное, но обжигающее. А ему и надобен был ожог.

- Я сейчас за чайком слетаю к дежурной, - сказал Алексей, поставив свой бокал на стол. - Ну, не на работе, а боязно всухаря глотать. Запуган. Докторша у нас в гараже хуже кобры. Я - мигом! - И исчез, деятельный, услужливый, просто милейший парень.

- Вы не подумайте, Ростислав Юрьевич, - сказала Лара, глядя на свет, как светятся на хрустале ее красные ногти, ухоженные, колючие, длинные, чем-то даже страшноватые, если представить, что ими тебя царапнут. - Нет, Алексей, конечно, милый парень, но это... - пошевелились ногти, ища нужное слово, свободной рукой покрутила, ища слово.

- Не вашего круга паренек? - подсказал Знаменский.

- Вот именно! Но он взялся нас познакомить с вами, и мы... Кстати, поразительной контактности экземпляр.

- Говорят, я тоже.

- Правда? А можно вас просто Ростиком звать?

- Вам?.. Ну что ж... - Он снова налил себе. - Ну что ж... Но тогда хоть выпейте со мной, с просто Ростиком.

- На брудершафт? Не рано ли?

- Об этом не смел и подумать. Нет, просто выпейте, не дожидаясь заливок.

- Идет! - Лара смело вскинула руку с бокалом, прошлась по комнате, бедро туда, бедро сюда, - словно демонстрируя некий пляжный наряд, глянула победительно на помалкивающую подругу и выпила. - Виват! - Задохнулась чуть, переждала, переждала, отдышалась. - А ты что же, Ланочка?

Помалкивающая Лана уже наметила свой стратегический план. Она замкнулась, слегка укрылась ресницами, явно отрешаясь от происходящего.

- Я подожду, когда Алексей принесет хоть чаю.

- Ну, а мы - без ничего. Ростик, что же вы?! Нагоняйте!

Он выпил, глянув поверх кромки бокала на своих дам. А ля Ротару явно пережимала, а ля

Толкунова вела себя поточней. Да она и больше ему нравилась. И она наверняка догадалась уже, что больше нравится ему, чем подруга. А подруга гнала картину.

- Спик инглиш? Парле ву франсе? Шпрехин зи дойч? - затараторила она, похаживая по номеру, как по демонстрационной площадке, - бедро туда, бедро сюда, - незримые одежды на ней разлетались, и, что ни говори, фигура у нее была что надо.

А что тебе надо? Ничего тебе не надо. Так низко падать все же не следует, хотя ты все равно на дне и тебе все можно, все доступно из того, что там, на дне, обретается. Ты - свободен! Какой с тебя нынче спрос?!

- Господи! - сказал Знаменский, заулыбавшись, страшась обидеть эту языкозлатицу хоть на волосок высокомерием. - Еще наговоримся на разных там языках, если пожелаете. - Но сейчас мне важно в родном попрактиковаться. Условились, сестрички? Давайте не будем спикать и парлекать. Я устал от этого всего. Верите?

Тут Лана сочла нужным молвить:

- Конечно, Ростислав Юрьевич. Это так понятно.

Но Лара не унималась:

- А я так хотела потренироваться в языках. Знаете, нужная штука в нашей профессии. Я даже беру уроки.

Она явно проигрывала по очкам. Знаменский глянул на Лану. Та снова загородилась ресницами, отрешилась. Сигнальщик на корабле не мог бы явственнее промахать своими флажками, чем она своими ресницами и этой отрешенностью. И что же за сигнал? "Вы мне нравитесь" - так? "Жду ваши позывные..." - про это? Позывные! В этом "люксе" сейчас просто буря разгулялась из этих позывных. И всегда так, когда сходятся мужчина и женщина. Незнакомые, едва знакомые, говорящие о чем-то наипустейшем или молчащие, но все равно - позывные, позывные начинают меж них свою работу. Нет таких радиоволн, таких ультраволн, которые могли бы потягаться с этой тонковолновостью.

Примчался Алексей. Парок струился из носика большого чайника, который он нес в одной руке, а казалось, что это из него самого парок исходит, такие он развел пары усердия. А в другой руке у него была тарелка с ярчайшими помидорами, с синей гроздьёю винограда и коричневыми ломтями чурека.

- Айсолтан кланяется! - вскричал он. - Обаяли вы ее, Ростислав Юрьевич! Вцепилась - кто такой? Почему у нас? Кое-что рассказал, хотя сам ничего толком не знаю. Смотрю, глаза заволклись, жалеет. А когда женщина жалеть начинает, то тут и до любви один поворот.

- А за что вас жалеть? - молвила Лана, издали молвила, из-под ресниц поглядела. - Вы не такой, чтобы вас жалеть.

И тут, прислушавшись к тихому голосу подруги, Лара поняла наконец, что сильно проигрывает по очкам.

- Ну что ж, - помрачнев, сказала она, беря у Алексея чайник и тарелку. - Будем пить чай и закусывать дарами Айсолтан. Алексей, помоги мне добыть тарелки и как-то хоть накрыть на стол. Наша Лана что-то уснула. Ну и пусть. Нет, а я не согласна, что пожалеть мужчину все равно что полюбить. Вот уж нет и нет.

Сигнальщик на корабле не мог бы явственнее просигналить сигнал отступления.

- Согласен с вами, Лара, - сказал Знаменский и снова налил себе. - А все-таки чокнитесь со

мной, прошу вас.

Женщина подошла, иначе двигаясь, будто вдруг устала, утихомирились ее бойкие бедрашки, и чуть дотронулась своим бокалом до его, безазартный рождая звон, смазала звон.

- Лана, а ты чего?

Теперь подошла и Лана, будто просыпаясь. Тоже знала, как ступать. И звон, когда чокнулась, сумела извлечь победительный. Сказала, повеселев:

- Вот теперь, когда виноград...

А Алексей, умнейший человек, уже ухватил за талию Лару. Распределились.

5

Он проснулся, изо всех сил цепляясь за сон, а снилось ему, что его вызывает к доске их учитель-мучитель математики в их спецшколе, где главным был английский язык, затем шли история, литература, география, даже физкультура, а математика, алгебра эта и геометрия, как и физика, пребывали в полном неуважении. И он худо учился по этим предметам, хотя самолюбие и мама не позволяли худо учиться и хватать хоть на чем-то там тройку, и он все же вытягивал на четверку и эти предметы, а то и на пятерку, поскольку был одним из первых в классе учеников, но худо, через не могу, осваивал он все эти формулы, задачи и законы. И даже сон вдруг прилепился, когда уже кончил школу, с золотой, кстати, медалью. Прилепился сон, чем-то похуже кошмаров, что вот вызывает его учитель к доске, спрашивает, не важно о чем, он наперед знает, что ничего не знает. И эта мука, что провалится сейчас, опозорится перед всем классом, что запустил предмет непоправимо, эта мука была похуже кошмара, где все грозит тебе смертью. Не часто, но этот сон, прицепившийся, повторялся, навещал, так сказать, пугая и предвещая. Обязательно потом, уже въяве, случалась с ним какая-нибудь неприятность. Он был, пожалуй, суеверен. Откуда и как входит в нас суеверность, никто не скажет, но страшок этот, боязнь примет и предвестий, сидит, угнездился во многих из нас. Но сейчас он просыпался, цепляясь за этот отвратительный сон, потому что с недавних пор привык и спать и не спать, зная, что спит, что во сне все страшное не страшно, а когда проснется, вот тогда станет страшно.

Но - проснулся. Новое утро распалось за двойной преградой окна, за занавеской и шторой. Только один луч пробился через эту преграду, но зато он был тоненькой струйкой раскаленного металла, проскользнувшего из изложницы, воздух вокруг него превратился в марево.

Проснулся, все вспомнил. Сперва то, что было рядом. Это, близкое, его даже обрадовало. Вспомнил, что слишком далеко у него с этой Ланой вчера не зашло. Все было рядом, все было возможным, но не случилось. Прозевали, заболтали они какой-то миг легкомыслия, в серьезное стали вступать, веселясь, попивая, обнимаясь. А когда на таких вечеринках вступает женщина в серьезное, то серьезным все становится, обретает свое действительное место в жизни, весомость свою, и мимолетности тут отлетают. Женщины просто хватаются за эту серьезность в любом развеселье, им она драгоценной кажется, эта серьезность, она им возвращает надежду, любой, самой-рассамой, ибо любая и самая-рассамая продолжает жить надеждой. И тогда уж нет уж. Вчера эта Лана так ему и сказала: "Нетушки". Мигом раньше могла бы и подчиниться, легко и просто. Но миг был упущен, простота отлетела. А Лара чуть было не ударила своего кавалера. "За кого вы нас принимаете?!"

Злые сидели по углам, по разным комнатам. А сейчас, вспомнив все, он просто был счастлив, что не заступил вчера черту. И вот потому-то, проснувшись, сперва обрадовался. Ну что бы он сейчас стал делать, если бы не ее вчерашнее "нетушки?". Наверняка чувствовал бы себя отвратительно, стыдно. И новая бы тяжесть прибавилась к его сегодняшним невзгодам. Вот! А вот теперь все вспомнилось, себя в нынешнем вспомнил. Так было теперь каждое утро - просыпался, вспоминал и погружался в удрученность. Потому-то цеплялся за самые скверные сны, зная, что спит, страшась яви.

Раскаленная струйка луча, вокруг которого плавился воздух, о грозном зное извещала, который бушевал за шторой и занавеской. Гудел в соседней комнате, надсаживаясь, кондиционер. Но вот и пронзительный звонок телефона позвал из соседней комнаты. Наверное, звонил Чижов. Все, все вспомнилось. И где он, и зачем он здесь, и кто он теперь.

Вскочил, подбежал к телефону, радуясь, что Алексей и дамы хоть прибрали тут все, ну, никакого следа от вчерашних игр не осталось. Водворенные в буфет хрустали, чинно выстроившись, вкрадчивым звоном поприветствовали его, когда пробежал мимо буфета.

- Ты, Захар? - спросил он в трубку.

Но в трубке забился женский голос, это была Лана.

- Милый, проснулся? Головка не раскалывается? Знаешь, а я нашла тебе комнату. Заехать? Посмотришь?

Начинались отношения. Раз женщина не заступила черту, она начинает заступать в серьезность, самоуважение рождает надежду. Ну что ж, а ему было сейчас не сложно с ней, он не чувствовал себя подонком, как мог бы чувствовать, если бы... Ну что ж, а комната действительно ему была нужна, не жить же в этом "люксе" какому-то всего лишь слуге двух господ. Что за господа-то? С год бы назад и не встретились бы, в республиканские министерства иностранных дел, помнится, ему спускаться не доводилось.

- Заезжай, Ланочка, - улыбочиво сказал он в трубку. - Спасибо тебе, родная. Поднимешься?

В трубке долгое натянулось молчание.

- Нетушки... Я ведь не каменная... Буду ждать тебя у подъезда.

Сложности начались, но это были не сложные сложности, он не заступил вчера черту, он не чувствовал себя подонком.

- Через десять минут, хорошо? Как раз столько минут мне нужно, чтобы побриться, принять душ и нацепить на себя что-нибудь.

- Хорошо, - почему-то тихо, как-то раздумчиво отозвалась женщина. - А то хочешь, поднимусь, прихвачу пожевать?

- Нет, спасибо, позавтракаем в городе! - нагоняя в голос радость и вдруг став дурак дураком и недогадой, улыбнулся в трубку Знаменский и поскорей опустил ее на рычажки.

Да, отношения начались и стремительно развивались, но это все не тяготило, забавляло даже, потому что вчера не заступил черту.

И снова зазвонил телефон.

- Ты, Захар?

Да, это был Захар Чижов.

- Как спал на новом месте?
 - Представь себе, все-таки спал.
 - Чем занимаешься?
 - Да вот собрался под душ.
 - А у тебя было занято.
 - Разве?
 - Знаешь, сегодня так складывается день, что не смогу тебя представить работодателям. Один улетел в командировку срочно, другой отсиживается на даче в "Фирюзе", сомлел слегка от жары. Но оно и к лучшему, акклиматизируешься пока.
 - А что там, за окнами?
 - Жара заметно спадает.
 - Что-то не похоже. У меня тут разливка стали происходит из-за штор.
 - Нет, полегчало. Сегодня обещают не больше сорока.
 - А вчера сколько было?
 - Все сорок два.
 - Да, сильно похолодало. Захар, ты не огорчайся, что меня твои шефы отказались принять. Я уже начинаю привыкать.
 - О чем ты? Действительно один улетел, а другой сомлел.
 - При явном-то похолодании? Не огорчайся, Захар. Но приезжай. Только по-быстрому. Познакомлю тебя с одной прелестной дамой.
 - Господи, когда успел?! Нина, представляешь, он уже с какой-то дамой познакомился!
- Смолкло в трубке, и Знаменский стал ждать, что сейчас с ним заговорит Нина, насмешливые какие-нибудь отыскав слова. Но Нина не подошла к телефону. Заговорил Захар:
- Не отзывается, спит еще. Так заехать?
 - Обязательно! Через десять минут буду внизу.
- Под душем, когда потихоньку стал сводить теплую воду к холодной и совсем холодной, когда просветлело в голове, ветерок будто просквозил, не захотелось вдруг, просто не захотелось жить, в такое нырнул отчаяние. Теперь это с ним случалось.

Он не стал спускаться в лифте, на лестнице было прохладно, солнце с этой стороны здания еще не палило из всех орудий. Он прошел мимо гостиничной почты, вспомнив, что надо послать жене телеграмму, они уговорились, что перезваниваться пока не будут, поскольку как угадать, где она будет - дома ли, на даче ли, на службе или у друзей.

Но о чем телеграфировать? Что долетел благополучно? Он обычно долетал благополучно. Да теперь и не столь важно было, как он долетит, все равно все было неблагополучно.

В тени навеса, там, за стеклами входных дверей, углядел Знаменский картинно прогуливающуюся Лану и на параллельном курсе с ней вяло шагающего Захара. Они явно не были знакомы. Город совсем невелик, а такая яркая молодая женщина и на виду у всех в силу своей - на, смотри! - профессии, а Захар Чижов, чуть ли - чуть ли, чуть ли! - не заместитель министра иностранных дел, то есть человек здесь известный и всюду бывающий, - а вот они даже не знакомы. В разных кругах вращаются? Вот именно.

А немного поодаль, где была стоянка автомашин, лениво похаживал вокруг своей "Волги" Алексей. Не подскочил к Лане, утаил от своего начальника, что знаком с ней. И она даже и глазом не поведет на этого шофера. А как вчера веселились! Тоже в разных кругах вращаются? А ты как думал? И здесь - круги и круги, кружочки, секторочки. Интересно, в каком сам-то окажешься? Нет, не интересно. Безразлично. О себе сейчас думалось с полнейшим безразличием. Ну, тут, ну, там, а по сути - нигде. Он человек - в нигде. Сжался, отмахнув стеклянную дверь, как перед шагом на самую верхнюю ступеньку парилки, шагнул. Да, его встретил зной, но не вчерашний. Действительно, сильно похолодало. Вчера было сорок два, сегодня обещают не больше сорока. Всего-то два градуса разница, а ведь действительно ощутил громадную разницу. При этих, при сорока, жить было можно.

- Вполне можно жить! - Знаменский поделил свое восклицание между Ланой и Захаром, чьи параллельные курсы сейчас сошлись. - Вы, смотрю, незнакомы? Эх, Захар! Чуть ли, чуть ли не просмотрел главную красавицу своего города! Лана, так вот же вам свой собственный международник. Знакомьтесь!

- Рад, очень рад, - сказал Чижов и неловко пожал слишком высоко поднятую дамой руку. А вот Знаменский эту высоко поднятую руку, как оно и полагалось, поцеловал. Пустяк, но женщины слагают свои чувствования из пустяков, именно из пустяков прежде всего. Знаменский знал это и понял, что еще как-то расположил к себе эту горделиво демонстрирующую сейчас свои стати манекенщицу. Когда тебе не нужно, когда действуешь просто машинально, автоматизм вежливости, то, как держаться, пожалуй, главная из наук Оксфорда, где он год стажировался, - тогда и бываешь победоносен. Совсем не нужная ему победа. А вот Чижов для Ланы перестал существовать. Все, пустое место, а не человек. Вот вам и мелочи в обхождении с женщиной.

- Я забираю вас, Ростик, - сказала Лана. - Нас ждут. И надо поторапливаться, уведут комнатку.

- Но я на службе все-таки, - сказал Знаменский. - Как, Захар, на службе я или еще не все ясно с этим?

- Все ясно. Кстати, ты непосредственно в моем распоряжении. И ты числишься на службе со дня моей к тебе телеграммы.

- Тогда мне в департамент, Лана. Я - клерк.

- Я тоже на службе, но я же бегаю по вашим делам. Уведут комнатку! А какая комнатка! Товарищ Захар, отпустите своего клерка на часок. Кстати, какие-то дни полагаются на устройство на новом месте. Ведь полагаются, товарищ Захар?

- Непременно. Комната - это серьезно, Ростик. Не теряй времени. В Ашхабаде снять комнату непросто. Товарищ Лана, я могу вас подвезти.

- А как же с оформлением, с заполнением личного листка по учету кадров? - Знаменский произносил эти слова улыбочиво. - Я действительно принят на работу? А стол об одну тумбу?

Я теперь одностумбовый, так ведь? А знакомство с коллективом? Надеюсь, я ни у кого места не перехватил? Ниже-то меня там у вас есть кто-нибудь? Не хотелось бы, стал страшиться завистников. - Улыбка, даже улыбки не сходили с его лица, говоря, он всячески улыбался, и все беспечнее и шире, - умел он это делать. Это тоже была наука. Но вот чтобы глаза улыбались, когда невмоготу, этой науке он еще не обучился.

- Милый, - взяла его за руку Лана. - Они тут должны тебя на руках носить, с двумя-то языками. И пусть завидуют. Мне тоже завидуют. На мне любое платье выстреливает. Что же, мне плакать по сему поводу?

- Ты оформлен, Ростислав Юрьевич, - сказал Чижов. - Мелкие формальности не в счет. Поехали, поехали смотреть комнатку!

В машине Лана очутилась на переднем сиденье, но даже не глянула на водителя. Крутит там кто-то баранку - и пускай его крутит. И Алексей тоже даже не поглядел на нее. Ну, уселась рядом дамочка - и пускай сидит. Он на работе, его дело вести машину, куда прикажут, а эти дамочки, что катаются с начальниками, ему без надобности, у него свои имеются. Вот так и ехали эти двое, забавляясь своим притворством.

- Куда путь держим, Захар Васильевич? - стронув машину, оглянулся Алексей.

- В сторону ботанического сада, - сказала Лана. - Пойдите, а вот вас я где-то встречала, - и она скосила смеющийся глаз на Знаменского.

- Мелькаю по городу. Нет, а я вас не припомню, - сказал Алексей и тоже не удержался, чтобы не сверкнуть своим лукавейшим прищуром Знаменскому. Разными дорожками, видно, бегаем.

- Это уж точно, - важно наклонила голову Лана. Кого-то заметила она на улице из знакомых, помахала рукой. И еще и еще - полно тут у нее было знакомых.

Улица прямо шла, широко раздавшись. Не улица, а проспект.

- Этот проспект у вас рассекает весь город? - спросил Знаменский. Кстати, а базары тут у вас где? На Востоке я обычно с базаров начинаю. Сказал и осекся, даже улыбкой укрыться не сумел, застыло, погасло у него лицо.

- Понял! - вдруг сказал Алексей, оглянувшись на Знаменского, на миг даже прищуры свои распахнул. - Понял...

- Ты о чем? - спросил его Чижов.

- Один человек такой, другой человек такой, - раздумчиво отозвался Алексей.

- Это глубокая мысль, - сказал Чижов.

- А понять непросто, - сказал Алексей. - Замаскировались все.

- Кого понять-то? Зачем? - спросил Чижов, посмеиваясь.

- Как - зачем? Людей вожу. А езда по жребью. Случись что, как кто поступит? Вопрос вопросов.

- Вроде как, с кем идти в разведку? - спросил Чижов.

- Именно, Захар Васильевич. Дорога всякие чудеса подкидывает. И драться приходилось, от шпаны сколько раз отбивался. А кто тебе спину прикрывает? Вопрос вопросов. Да вы меня

понимаете. Помните, как мы у Безмеина круговую оборону держали? Нас - двое, их - пятеро. Но я в вас не сомневался. И что? Усекли паренечки, растворились.

- Значит, он у вас смелый, ваш начальник? - спросила Лана.

- Отчаянный!

- Как-то даже не верится. А вы не льстец ли, товарищ водитель?

- Только с дамами.

- А вот он у вас не очень с дамами.

Знаменский расхохотался.

- Понял, Захар? Женщины не прощают нам неуклюжестей.

- Ни-ког-да! - по слогам сказала Лана. - Льстивый водитель, не доезжая "Юбилейной", крутани в переулочек влево! Ростик, "Юбилейная" - это наша гостиница для именитых гостей. Вон домик с лоджиями. Но это еще не самая-самая. А самая-самая на территории "Ботанического сада". Но там я даже и не бывала ни разу. Там поселяют безгрешных ангелов. Им ничего нельзя. Все можно, а ничего нельзя. В этих отельчиках внизу милиционеры стоят. Где уж тут.

- Как в грузинском анекдоте! - подхватил Алексей. - Ну, когда рог для вина с дырой, а...

- Можете не продолжать, сэр, - сказал Знаменский. - О женщинах - без женщин.

- Да знаю я этот анекдот, кстати, не анекдот, а тост, - сказала Лана. Фу, действительно! Еще разок влево, снова влево, прямо, прямо теперь. Стоп! Приехали!

Улочка, где теснились старые тутовники и карагачи, где тянулись, скрытничая, дувалы почти вровень с кровлями, где у окон были ставни, открылась глазам. Тишина тут жила. Укромность. За дувалами ни звука. Лишь журчали по обе стороны арычные струи, тихонечко пробиралась по желобам прозрачная вода. Тут покой угнездился.

Все вышли из машины, все переводили дух, выбравшись из духоты.

- Господи, сделай так, чтобы эту комнату мне тут сдали! - помолился Знаменский, сведя ладони.

7

Врезанная в дувал зеленая дверца отворилась. В дверном проеме возник невысокий, щупловатый мужчина, вроде бы старый, но и не старый. Коротко стриженные, в сильную седину волосы, молодые, упористо всматривающиеся глаза. Пожалуй, не щуплый, а просто не рослый, не раздавшийся в плечах. Но руки с хорошо развитой мускулатурой, рабочие руки. Майка, белые, многожды стиранные брюки, сандалеты на босу ногу - так он был одет. На шее, на истертом шнурочке, крестик. Читался этот человек легко и просто. Этаким совсем, совсем прикипший к земле, к своему домику человек. На пенсии уже, конечно же, а глаза молодые и руки сильные, потому что дружен с землей, ковыряется, возится со своим садиком с утра до вечера.

- Входите, входите, - сказал он, торопя слова. - Прошу, прошу. Комната вам нужна? - Он глянул на Знаменского. - Таким и представлял. Ростислав Юрьевич? Прельстили меня ваши

имя и отчество. Дерзко нарекли. Имя дать судьбу предсказать. Дерзко, дерзко. Будем знакомы. Со мной попроще обошлись. Дмитрий. И по батюшке - Дмитриевич. А жизнь подсократила, зовут все Дим Димычем. Да еще понравится ли комнатка? Не княжеские совсем у меня хоромы. Входите, входите. - Он всех звал, рукой маня, но слова свои обращал лишь к Знаменскому, только на него и взглядывал, быстро, зорко, всякий раз коротко, чтобы не показалось, что разглядывает. Но - всматривался, разглядывал.

Вошли, один за одним, в маленький дворик. Лана уже раньше туда впорхнула, своим тут была человеком, и уже тянулась, привстав на цыпочки, к повисшим высоко фиолетовым сливам, вот-вот ухватит одну. Легкая, прозрачная ее юбка вздернулась, почти нагая длинноногая молодая женщина тянулась сейчас руками к плодам, показалось даже, что к небу. А рядом, близко, показалось, что совсем близко, коричнево морщились горы.

- В раю живете, Дмитрий Дмитриевич, - сказал Захар. - Сад... Горы...

- Правда? Почувствовали? Но дело не в горах и не в плодах. Женщина вошла и прикоснулась. Какая это все-таки тайна, женщина. Лана, сотворила рай, и хватит, возьми табуретку, иначе не дотянешься. Да, а я вас знаю. Захар Васильевич Чижов, если не ошибаюсь?

- Не ошибаетесь. Простите, не помню, чтобы нас познакомили.

- Нас не познакомили. Просто указали мне на вас на улице. Заметный в нашем городе человек. Так уж заведено от века: незаметным указывают на заметных.

- Это вы-то, Дим Димыч, незаметный? - сказала Лана. Теперь она взобралась на табуретку, и Алексей придерживал ее за колени, как-то криво-косо держал голову, чтобы уж совсем не дать волю посоловевшим глазкам. А ей хоть бы что! Тянулась, ухватывала сливу, впивалась в нее зубами, желтые, медовые капли падали Алексею на лоб.

- Верно, кто вас в городе не знает, Дим Димыч, - сказал Алексей, криво-косо держа голову, слизывая сливовые капли, поползшие по носу и губе. - Ланка, слезай! Есть у тебя совесть?!

- Нет, я бессовестная! - Она соскочила с табурета. - А ты что вытаращился, льстивый шофера? Не для тебя я, не облизывайся!

Из дома вышла женщина. Молодая. Подтянутая. Куда-то спешащая. Да, молодая, но не такой звонкой молодостью, яркой и даже красующейся, какой была молода Лана. Когда на столь маленьком пространстве, - ступени дома и пятачок двора, - появляются две женщины, их невольно сравниваешь. Лана по всем статьям была лучше, ярче, именно что звонче. А в этой все как-то пригашено было, она и одета была в платье, хоть и летнее, легкое, но темное. И не понять было, какие у нее глаза, какого цвета. Она выбрала из всех Знаменского, надолго задержала на нем взгляд. Он почувствовал чуть ли не неприязнь в этом взгляде. За что? Глаза были серые, вот какого они у нее цвета. Серые, хмуроватые. Он попробовал улыбнуться ей, чтобы снять, отвести в сторонку хмурость. Он привык, что улыбка помогала ему в первый миг знакомства, почти всегда выручала. Но, улыбнувшись, понял, что как-то не так улыбнулся, что его продолжают рассматривать все так же, без снисхождения.

- Дим Димыч, я на дежурство, - сказала женщина. - Здравствуй, Ланочка.

Она пошла по выложенной кирпичами дорожке, близко прошла мимо Знаменского. Но отчего же такой хмурый, даже сердитый у нее взгляд? А фигура у нее была что надо. С такими ногами веселей надо бы по жизни ступать.

- Здравствуйте, господа мужчины, - скупно вскинула она руку.

- Светланочка, как жаль, что ты уходишь, - сказала Лана. - Посидели бы... Товарищ же снимает у вас комнату.

- Не у меня, у Дим Димыча. А тебе бы все веселиться. Пойди в дом, умой рожицу. Сладкая очень. - Лане эта Светлана чуть-чуть улыбнулась, чуть-чуть подобрели ее глаза.

- Строга, строга! - сказал Алексей, когда дверь в дувале за Светланой затворилась. - Хозяйка! Дим Димыч, когда это вы успели жениться? Почему я не знаю?

- Не знаешь, потому что не женат. И не собираюсь, не собираюсь. А собрался бы, никто бы за меня не пошел. Упустил я, упустил жениховскую пору.

- Тогда почему эта докторша в вашем доме очутилась и отчитывается перед вами, что пошла вот на дежурство?

- А потому что потому, молодой человек. Ну, Ростислав Юрьевич, Захар Васильевич, пойдем посмотреть комнатку?

Если дворик и сад при этом доме были и схожи с тем двориком и садом, где уже побывал вчера Знаменский, оказавшись у Чижовых, то только деревьями были схожи, виноградником, небом этим знойным, где неподвижно висели чуть ли не вчерашние два облачка. Сходство было, но различий было еще больше. Тот, чижовский, клочок земли был европейским, что ли, вкраплением под небом Азии. Такие вкрапления видел Знаменский, бывая в гостях у своих коллег и в Каире, и в Аммане. По-привычному устраивались на чужой земле люди.

Натаскивали в здешнюю природу европейские мебели, огораживались вентиляторами, кондиционерами и холодильниками, гостили, а не жили на чужой земле. А в этом дворике и садике русский человек Дмитрий Дмитриевич обосновался жить, приняв обычай этой земли, ее требования, ее законы. Туркменский дощатый помост для летних трапез был тут. Печурка была сложена из камней, на которой стоял в черноту закопченный чайник. К стволам деревьев были подведены арычные канавки, а вот фонтанчика для услады не было, вода тут работала. И виноградник тоже работал, поджарым казался, а не тенистым, и шпалеры были невысоки, не образовывали беседку, беседка - это ведь для бесед, а здесь лозы пили и вызревали, чтобы дать людям урожай. Этот садик был вовсе непригож, каждый клочок земли был возделан, тут был и огород. От этой земли, вложив в нее труд, потом ее оросив, человек ждал для себя куска хлеба, извечного этого подаяния земли. И хотя все тут было только для дела, а не для красы и услады, здесь жил такой разумный порядок возделанной земли, такая трудовая строгость жила, что она, строгость эта, и была красотой. А еще - горы. Как изморщенная старческая рука, из близкой дали протянутая к тебе. Или старческое строгое лицо? Горы разные подсказывали образы, рождая один, главный, они были - вечностью.

Ну, а каков же домик у этого Дим Димыча?

Никаких чудес. Маленькие комнатки с глубоко ушедшими в землю полами, так глубоко, что окна, тоже небольшие, были ближе к потолку, чем к полу. Не богатые, но опрятные коврики повсюду, кошмы. Еще в прихожей все разулись, пошли дальше в носках. Этот обычай тут был не из новых, не продиктован страхом хозяев, что гости затопчут глянцевый паркет, которого и в помине не было. Этот обычай здесь был из древних времен, как и зарывшиеся в землю полы, и высоко прорезанные оконца, все для того, чтобы в доме уберегалась прохлада.

- У меня дом - так называемая "временочка", - сказал Дим Димыч. - Сразу после землетрясения такие домики во множестве появились. Мы сами их и строили, землетрясенцы-то. Кто как умел. Теперь их почти все поносили. Конечно, не шибко казистые хоромы. Но что на что менять. Если на эти панельные секции, которые летом пропекаются, а зимой продуваются, то еще не ясно, где лучше.

- Ваш дом поставлен основательно, - сказал Чижов. - Это уже не "временка". Но иные, именно "временки", просто сами стали разваливаться. Ведь землетрясение когда было. И строили наспех.

- Кто как умел, кто как умел. Наспех! Занятое словечко, если вдуматься. А что же в нашей жизни не наспех, Захар Васильевич? И для какой такой долгой жизни мы себя уготовливаем? Человек - предполагает, а бог располагает.

- Вы - верующий? - спросил Чижов.

- Я - думающий. То есть я пытаюсь понять, пытаюсь... Но... Вот они, эти верующие, посещающие храмы господни, что они с Землей сотворяют, громоздя на ней свои "Першинги", "Томагавки" и эти немислимые совсем "МХсы"! Господь их, что ли, на это благословил, вера подвинула? Верующий! Я в церковь не хожу, а крестик - он матерью мне дан, когда умирала. Что ж, если угодно, да, я верующий. Но не как они, не как они, несущие всем погибель. Смешалось, спуталось все. Вы вот коммунист, разумеется, безбожник, конечно же, а к богу вы ближе, чем иной епископ. Смешалось все, перепуталось. - Говорил Дим Димыч все это вроде посмеиваясь, слова подгонял, подгонял, иные даже проборматывал небрежно, но не шутил, глаза у него не смеялись.

Комнат в доме было много, хотя со двора совсем небольшим казался этот дом, невысокий, именно что вжавшийся в землю. Но комнат было не меньше пяти, и из одной дверь вела в другую, наглухо не разгорожены были комнаты, чтобы им легче дышалось. И странно широкими были эти двери в маленьких комнатах.

- Дворцовая прямо анфилада, - сказал Знаменский, улыбочиво оглядываясь.

- А мне здесь нравится, - сказала Лана. - Совсем тут не шикарно, а нравится.

- А где шикарно, там никогда и не понравится, Ланочка, - сказал Дим Димыч. - Там - позавидуется. Зависть же, как справедливо изволил заметить философ Ницше, - "главное топливо для всех страстей".

- Да, тут у вас симпатично, - сказал Знаменский. - Книг много. Почитаю, если поселюсь. И книги на полках какие-то из детства. Читанные. Корешки старенькие.

- Такие и должны быть. Книги - они для чтения изобретены, а не для бахвальства, как повелось нынче. - Дим Димыч не переставал приглядливо всматриваться в Знаменского. - Это хорошо вы сказали, слово нашли: "симпатично". Спасибо, это большой комплимент мне, хозяину. Симпатично! Если вдуматься, сколько в этом слове теплого смысла. А иное слово как льдышка. Вот, смотрите, эту комнатку и наметил сдать.

Вошли в еще одну небольшую комнату. Сперва пропустили вперед Знаменского, ему тут предстояло жить, ему первому и смотреть. Он вошел, глянул по сторонам. Защемило сердце. Отчего вдруг? А вот потому, что ему тут предстояло жить. Долго ли? Менялась жизнь, отбрасывала его вот в эти стены. На этой узкой лежанке предстояло ему теперь спать, у этого высокого окошка, под которым стоял утлый письменный столик с одной тумбой, присаживаясь боком к столику, предстояло и есть, и письма писать, что-то еще там писать, хотя как журналист-международник он кончился. Кончился! Он близко подошел к окну, страшась оглянуться на своих спутников. А в окне стояли горы, стояла вечность. Что им его беды? Такое ли они знали за свои миллионлетия? Он понял, что теперь часто будет смотреть на эти горы, в их лики изморщиненные, ища себе опоры. Какие там у тебя, человек, беды? Есть кровля, есть кусок хлеба, есть вода в арыке. И ты еще не обделен друзьями. Тебе помогают. Ты еще не в конце пути. Отринь уныние перед ликом вечности. Комнатка, конечно, была жалкой, какие-то карты старые были развешаны по стенам. Зачем они ему? Мебель была наижалчайшая, из кинофильма про довоенную бедность. Как он к этой колченовости

приобвыкнется? Да и хозяин, явно странноватый, будет угнетать своими торопливо проговариваемыми философствованиями, дались ему эти "Першинги" и "Томагавки". И эта женщина с хмурым, просто злым взглядом, явно не принявшая его. Но - горы. Как у Льва Толстого: "А горы..." Знаменский обернулся:

- Если я вам подхожу, то я бы, Дмитрий Дмитриевич, тут и поселился.

- Подходите, Ростислав Юрьевич, подходите. Вы не страшитесь, я вас донимать своими разговорами не стану. А эту дверь в соседнюю комнату мы замкнем. У вас еще есть дверь, прямо в коридор, вот через нее и будете ходить.

- А там докторша, она в какой комнатке обосновалась? - спросил Алексей. - Не столкнутся лбами? В темноте-то ночной? - щурились, смеялись его глазки.

- Тебе бы все сталкиваться, - презрительно сказала Лана.

- Жизнь, Ланочка, как узкая дорога в ночное время, где фонари не горят.

- А что это за карты у вас? - спросил Захар. Он пошел вдоль стен, рассматривая поблекшие, выцветшие полотна карт, их тут много было. - О, смотри-ка, дореволюционная карта Туркестана! Старый, доземлетрясенческий план Ашхабада! Историей увлекаетесь, Дмитрий Дмитриевич? Гляди-ка, Ростик, древний план Московского Кремля! И все тут его башни начертаны и поименованы! Ну вот, сможешь теперь изучить имена этих башен. Москвич, а ведь не знаешь, уверен, что не знаешь. - Он принялся читать, торжественно выговаривая: - "Водовзводная угловая...", "Набатная...", "Царская...", "Сенатская...", снова "Водовзводная...", а это вот - "Угловая Москворецкая..." и она же "Беклемишевская...". Знал ты эти имена, москвич урожденный?!

- Слышал... Забыл...

- А теперь вспомнишь. А что это? Старинная, еще дореволюционная карта Москвы... Центральная часть... Церкви, церкви, церкви, куда ни глянь. Не зря говорили, что Москва была златоглавой. Так вы историк, Дмитрий Дмитриевич?

- Был когда-то картографом. История, конечно, рядом с картой живет, но карта правдивее. Если ее уметь читать, нет ничего более интересного и более поучительного.

- А почему бросили свою картографию? - спросил Знаменский.

- Долго рассказывать... При случае... Карты эти вам не помешают, Ростислав Юрьевич? Не хотелось бы снимать, уж больно ветхи. Фотографии, лики чужие, я бы снял, а карта не гнетет. Оставляем?

- Даже попрошу вас оставить. Прав Захар, москвич-то я москвич, а города своего почти не знаю. И Кремля Московского не знаю. Про Тауэр, про Нотр-Дам больше знаю, чем про Кремль.

- Теперь поизучаете, - сказал Алексей. - В ночные часы... Если, конечно...

- У кого что на уме, а у тебя, Алексей, все одно и то же, - сказала Лана. - Ну что ты за человек?!

- Обыкновенный, Ланочка. И ты учти, у всех на уме, что и у меня на уме. Одно и то же, тут ты права, одно и то же. Только некоторые маскируются, а я прямой человек.

- Уж ты-то прямой! Как твоя баранка! Круть-верть!

- Условия, Ростислав Юрьевич, без запроса, вперед мне денег не нужно, а вот паспорт ваш понадобится, чтобы оформить временную прописку. Временную во "временке". Когда будете перебираться? По мне, хоть сегодня. Комната прибрана.

- Сегодня и переберусь, - сказал Знаменский, снова подходя к окну. Завалюсь спать пораньше, а утром - горы.

- Захар Васильевич, поможем? - спросил Алексей.

- Непременно.

- Тогда покатили в гостиницу за чемоданами, прихватим еще там кое-чего, и назад. Прихватим, Захар Васильевич? Полагается отметить, чтобы жилось счастливо.

- Мы-то, может, отметим, товарищ шофер, а тебе нельзя, - сказала Лана. - Права отберут.

- Гляжу, полюбила ты меня, Ланочка, бережешь меня. Учти, я самого Захара Васильевича Чижова вожу. Мы - МИД. Нас не обнюхивают.

- А вот перед богом все равны, - сказал Дим Димыч. Он подошел к Знаменскому, глянул, куда тот глядел. - "А горы..." - повторил толстовские слова. - Да, Ростислав Юрьевич, а перед вечностью все равны...

8

Отмечать переезд Знаменского из гостиницы в дом к Дим Димычу не стали. Уж больно перепад был велик. Из "люкса" во "временку". И все это почувствовали, даже Алексей почувствовал, когда тащил блистательные чемоданы Знаменского в машину. Перепад, перепад уж больно был велик. Скатывался, слетал человек со ступеней жизни - все это поняли. Увяла и Лана. Да ей и на работу было пора. Захар позвал обедать, но и ему тоже сперва на работу надо было заскочить. Условились, что завтра, с утра, Алексей заедет за Знаменским, привезет его в "Домик Неру" - так в городе звали дом, в котором размещался ныне республиканский МИД. Действительно, дом тот был некогда построен в спешном порядке для Джавахарлала Неру, который должен был прожить несколько дней в Ашхабаде. Но Неру не приехал, а дом сперва приспособили под гостиницу Совета министров, а потом вот отдали МИДу и Республиканскому обществу дружбы. Чижев зачем-то всю дорогу втолковывал эту историю их дома, "Домика Неру", Знаменскому, когда возвращались с чемоданами из гостиницы к "временке" Дим Димыча.

- А это вот мой домик, - сказал Знаменский. - Каждому свое...

Алексей выгрузил чемоданы, хотел было занести их в дом, но Знаменский удержал его:

- Сам, вам надо на работу спешить.

Лана торопливо чмокнула Знаменского в щеку, шепнула, будто одаривая:

- Разыщите меня!

Провожающие сели в машину, Чижев, добро кивая, замахал своей большой ладонью, Алексей, подражая, улыбнулся, перехватив улыбку Знаменского, а тот все улыбался, улыбался им, уже и машина покатила, свернула за угол, а он все улыбался.

- Вам подсобить? - Неведомо откуда взявшийся, перед Знаменским стоял худой, от рождения в смуглоту прокаленный солнцем мужчина, высокий, сутуловатый, с широкими сухими плечами. Рубаха навыпуск западала в углубление живота. Он был худ неимоверно, одни кости да смуглая, в черноту, кожа. Но руки были сильные, хватистые, не чахлая, а спортивная худоба ощущалась в этом человеке.

- Ашир Атаев, - представился он. - Друг Дим Димыча. - Он подхватил тяжеленные чемоданы, легко понес к дому. Пока говорил, представлялся, водочный дух ударял в лицо Знаменскому. Этот Ашир Атаев довольно изрядно где-то хватил. Он сразу и показался Знаменскому забулдыгой. Одет был уж очень пренебрежительным образом, рубаха навыпуск и расстегнутая до пупа, штаны коротковатые и пузырями, сандалеты на босу ногу разбиты и с въевшейся в них пылью.

А в дверях стоял Дим Димыч. В маечке застиранной, тоже штанах пузырями, тоже в сандалетах на босу ногу. Но этот был хоть трезвым. И крестик на шее. Философ доморощенный. Правдоискатель. Верующий от смятения перед жизнью. Осколочек русской души, занесенный каким-то вихрем житейским на землю Азии. Легко читался этот человек. Неудачник! Да и тот, что подхватил чемоданы, поджарый этот туркмен, легко читался. Тоже из неудачников! И уж если человек востока так пьет, днем начав, то совсем плохи его дела. Как у тебя, как у тебя самого, Ростислав Юрьевич! Вот потому ты и примкнул к этим. Нет, не комнату во "временке" снял, а обрел свою среду обитания. Так вот! Ты теперь много ближе к ним, а не к тем, кто укатил на "Волге". Так вот, ты тоже, парень, легко прочитываешься. И прочитали и позвали - вот сюда, на край города, во "временку". Эти - позвали, те - отпустили.

Знаменский быстро вошел в дом, прошел по коридору, вошел в свою теперь комнату, шагнул поспешно к окну. Не было за окном гор, затянуло даль полуденным маревом. Но они там, неподалеку, за красно-сиреневым вдруг туманцем, они еще откроются.

- Сокрылись от меня горы. "А горы..." - обернулся Знаменский к Дим Димычу. - А не выпить ли нам, братцы? Ну, на троих? Как вы насчет этого? Обмыть же полагается. Деньги есть.

Он поглядел на них, на бедолаг, даря им самую-рассамую из своих улыбок, так же трудно добыв ее, как эти слипшиеся бумажки из узкого кармана брюк. Он поглядел на них, ожидая ответных, расслабленных, смущенно-радостных кивков, готовности повергнуть себя в мимолетность пьяного забвения. Глянул и оторопел, так сухо-зорок был ответный взгляд только что показавшегося ему пьяным, да и явно выпившего, сохлого Ашира Атаева.

Но короток был этот взгляд, будто почудился Знаменскому, а следом, и верно, закивал согласно Ашир, по-пьяному залихватски взмахнул руками, по-пьяному кидаясь в объятия дружбы.

- А я что говорил?! Свой человек! Дим Димыч, есть у тебя?!

- Найдется. Уже и приготовил. Пошли на воздух. Но только я с вами пить не буду. Без меня, без меня.

- На воздух, на воздух! - заторопился Ашир, сутуло устремляясь в коридор, гонимый жаждой.

А Дим Димыч в дверях придержал чуть Знаменского:

- Вы о нем худо не подумайте, Ростислав Юрьевич. С горя пьет. Представляете, был старшим следователем по особо важным делам. Уволен. Как не соответствующий занимаемой должности. Представляете? Легко ли ему, как думаете?

- Думаю, что не очень.

- Да, да, вашему пониманию это теперь доступно. Потому он и потянулся к вам.

- Но ему легче, чем мне. Уволили, ну и что? А вы, Дим Димыч, тоже из уволенных?

- У меня другое... - Дим Димыч поспешно нырнул в коридор, приговаривая: - На воздух, на воздух!

Во дворе, ножками встав по краям арычной канавки, уже красовался маленький, сбитый из досок, столик, на котором навалом лежала всяческая зелень, все дары здешней щедрой земли, лишь ороси ее хоть немножко. Помидоры громадно алели, редиска бело-красные выставляла бока, лук топорщился стрелами, зеленели, кудрявились листочки киндзы, а рядом, на виноградных листьях, заменявших скатерть и тарелки, лежали желтые гроздья раннего винограда, синела, сочась желтым соком, слива, маленькие, из первых, круглились дыни, только-только вошедшие в розоватую желтизну, в свой румянец спелости, а рядом круглились небольшие, тоже из первых, арбузы, тоже робко еще входившие в свой дерзкий зеленый цвет. И цветным показался Знаменскому аромат, витавший над столиком, этот неземной пленительности дух земных плодов.

Ашир Атаев, строго вытянувшись, изгнав сутулость, отрешенно стоял возле столика. Он казался совершенно трезвым, снова ясную зоркость глаз обрел. Но зоркость его темных, вычерненных зрачков, отчетливо круглых, дульцами, была нацелена сейчас не на Знаменского, не на Дим Димыча, не на мир окрест, а в себя самого нацелена, в себя сейчас всматривался этот человек, как оказалось, поверженный и оскорбленный.

- Вот, друзья мои, чем богат... - сказал Дим Димыч и повел рукой над столом. - А бутылка в арыке стынет, не стал ставить, чтобы картину не испортила.

- Да, картина, - сказал-вдохнул Знаменский. - Тут у вас рай, Дмитрий Дмитриевич. Эх, еще бы горы открылись!

- Не нужны сейчас горы, - пробуждаясь, сказал Ашир. - Бутылка сейчас нужна из арыка. - И снова запьянели, заволоклись его в черноту и дульцами глаза. Он выхватил бутылку из воды, обтер об рубаху, высоко поднял, выкрикнул: - Привет тебе, арак из арыка! - Он выкопал стаканчики из-под груды зелени, сноровисто распечатал бутылку, торопливо, но прицельно наполнил стаканчики, вручил и Знаменскому, и Дим Димычу, который не хотел брать, но взял, подчинился.

Стоя, свели стаканчики, выпили. А закусывать не спешили. Просто не протягивалась рука к красе на столе, не решился никто первым нарушить картину.

- Ешьте, друзья, закусывайте, - сказал Дим Димыч. - Вот тут с края и ножички и вилочки. Лепешка вот. Лепешка с базара, сам не пеку. - От лепешки он и отломил, стал жевать.

И Знаменский с Аширом тоже отломил от лепешки, но взяться за ножи и вилки все еще не решались.

- Повторим? - спросил Ашир. - А то как на похоронах стоим. - Он снова забулькал в стаканчики из бутылки. - Подставляй, подставляй, Дим Димыч. Сказано, "на троих" пьем! Ну, разжались!

Выпили, послушали себя, как там в них водка побежала, запаливая огонек, и верно, разжимая в них что-то, высвобождая от чего-то, хоть на миг, хоть на миг. Не присаживаясь, да и не на что было садиться, стали есть, зачиркали, застучали ножами по доскам.

- Как на светском приеме, а ля фуршет! - сказал Ашир, и зажглись искорки в его глазах-дульцах. - Полагаю, знакомая для вас ситуация, товарищ Знаменский? Но вместо

тарелок виноградные листочки. Сойдет?

- Сойдет. Даже удобней.

- И вилки не нужны. Хватай руками. Правда, удобней? - Ашир Атаев хорошо, почти без акцента, говорил по-русски, лишь иногда путая ударения. У него прозвучало не "удобнее", а "удобнее". Иногда в его слова вплеталось слишком уж мягкое "л" или чрезмерно раскатистое "р".

- Удобнее, удобнее, - согласился Знаменский.

- У нас с вами теперь такая полоса жизни, когда назад-назад, в простоту летим. Ощутили? Или еще в шоке?

Этот Ашир Атаев, по одежде если судить, уже порядочно отлетевший назад-назад, почти в бродягу превратившийся, все же считал вот, что они ровня, что они в одну и ту же какую-то полосу попали, где такая уж простота жизни, что можно спиваться и опускаться. Неужели?

- Нет, я еще в шоке, - сказал Знаменский, отгораживаясь от дальнейшего разговора вежливой, но суховатой улыбкой, не сближающей, а пресекающей отношения.

- Дипломат, сразу видно! - сказал Ашир, в упор стрельнув своими зрачками-дульцами. - Вот, Дим Димыч, улыбнись-ка так, попробуй. Наука!

- И у тебя, Аширчик, дорогой, глазки так постреливают, как только у следователя могут, - сказал Дим Димыч. - Тоже - наука! Мы же не на допросе, учти.

- Вот тут ты прав, Дим Димыч, не на допросе. И не прав, Дим Димыч, мы теперь с товарищем все время на допросе пребываем. Но только особенный это допрос, сами себя допрашиваем. Понимаешь, сами себя? Да ты все понимаешь, прошел через это. А глаза у меня не от профессии, не от выучки на юридическом факультете Ленинградского университета. Тут ты не прав. У меня глаза от предков, от племени Теке, от этого песочка в воздухе, прилетевшего из Каракумов, от колкого песочка. Дай мне лошадь, дай мне лук, кинжал, аркан, крикни мне, как кричали мои предки в набеge... - Ашир вдруг яростно истончил голос и закричал, яростно, пугающе оскалив зубы. И вдруг смолк, сник, присел на корточки, безвольно уронив голову. Сухие, сильные его плечи мелко дрожали.

9

Но что же, что же с ним стряслось, с этим старшим следователем по особо важным делам - бывшим следователем, в том-то и дело! - чтобы человек мог так закричать?! Это не клич был его племени, не яростный вскрик атакующих всадников, это был крик рушащегося человека. Отчаяние в нем закричало. Но что же, что же?..

Они давно покинули дворик Дим Димыча, его заваленный дарами земли стол. Им там тесно стало. Дим Димыч их там пас, обвыкшийся со своей старой бедой, а их беда - своя на каждого! - была совсем новой, свеженькой, кровоточила. И они ушли, хоть и немного выпив, но сразу захмелев, обнявшись, покачиваясь, чуть знакомые, но уже и братья, ибо несчастье роднит. А счастье? А счастье как раз и разъединяет.

Они ушли, Ростислав Знаменский и Ашир Атаев, побрели по безлюдным, тихим окраинным улочкам, и если попадались навстречу прохожие, то еще издали, едва завидев эту пару обнявшихся и шатких, переходили на противоположную сторону. Для прохожих, со

стороны-то, они были просто двумя забулдыгами. Один с виду был почти бродягой, другой казался заморским туристом.

Шли, покачивались, подпирали друг друга, слушая друг друга, но говорили разом, каждый еще слушал себя. Ничего, разбирались. И друг в друге разбирались, и каждый сам про себя, ясность сейчас в них обреталась, изумительная ясность. Потом, когда утром станут вспоминать, а утро самый ясный час, ничего почти не вспомнят, сбежит от них ясность. Но то утром будет, а пока... И про Дим Димыча сразу все узнал и все понял Знаменский. Узнал, что в землетрясение у него погибли маленькие сын и дочь, а жена осталась без ног, годы и годы потом жила калекой, передвигалась в коляске потому и двери в доме из комнаты в комнату ведут, потому такие широкие эти двери, хотя комнаты маленькие. Узнал, что искалеченная эта женщина была доброй и отзывчивой, со всего города сбегались к ней бедолаги, всем она умела помочь. Она и он, Дим Димыч Коноплев. Дом этот, "временка", где, казалось, неизбывное горе поселилось, был в городе островком спасительным для потерпевших кораблекрушение. Все ясно, все понятно. Такие островки, если поискать, в любом городе отыщутся. Несчастье либо ожесточает людей, либо возвышает. Доброта твоя и самого тебя лечит. Что бы они делали, эти двое, если бы замкнулись в своем горе, ожесточились? Все ясно, все понятно, они врачевались, самоврачевались добротой. Тут все легко прочитывалось. А вот свое горе трудней читалось. Про другого, слушая его, понималось, про себя, слушая себя, ну никак.

- Понимаю тебя, понимаю, - говорил Ашир, они сразу же перешли на "ты". - Не разобрались, не пожелали. Да и зависть. Вон ты какой! Ну, конечно, что говорить, выпороть бы тебя не мешало. Разболтался, что говорить. Это вас, баловней судьбы, вседозволенность с ног сбивает. Все вам можно! Человека в пьяном виде сбил - сошло. Машину перепродал, нажившись, простили. В какой-то сомнительной компании застукали - обошлось, замяли. Так и скользите по жизни. Все можно! Все сходит! А вот и нет, и нет!.. Но ничего... Не падай духом...

Да, беда его, катастрофа, гибель - все это было ясно-понятно Аширу Атаеву, рассказанное Знаменским его не удивило, все он быстренько понял и объяснил.

Но и Знаменский, вслушиваясь в сбивчивый рассказ про то, за что лишился Ашир Атаев работы, за что стал вот не соответствовать - слово какое мучительное, оскорбительное! - занимаемой должности, но и Знаменский легко и просто все понял и даже растолковал:

- Пошел ты, друг, против начальства, я так понимаю. Занесся, скажу тебе. Ну, следовательно, ну, ухватил нить. А вот понял ли, по зубам ли этот моток? Решил, что по зубам. Вышло, что нет. Вот и... Но ничего... Не падай духом...

Все ясно, все понятно, все прочитывается. У Ашира про Ростислава, у Ростислава про Ашира. Ясно другому, себе - нет. И снова начинают они втолковывать, по второму кругу, по третьему. Бредут, бредут, обнявшись, путаясь ногами, запутываясь в мыслях. Одно хорошо - обрели друг друга. Это уж наверняка хорошо, просто замечательно. Удача! Но наутро и это уйдет, сбежит чувство удачи. Ну, познакомились, выпили, потолковали, излишне, жаль, откровенничая, ну, разбежались. Все? Именно! Каждому жить в одиночку. И жить худо. И все же, все же. Глядишь, снова сбегутся. Бутылочка. Чуть повеселей станет. Снова заговорится о самом сокровенном. Душа-то болит.

Ашхабад - большой город. Собственно, он еще город, его еще мысленно можно как-то оглядеть, вобрать в возведенную ограду, хотя бы мысленно - ведь города от ограды пошли, от сходящихся за укрытие крепостных стен людей. Оград таких теперь нет. Но город, если не слишком большой, еще возможно оглядеть, огородить памятью глаз. И тогда это город. А если слишком велик, то считай, несколько городов встало под одно имя. В Москве их сколько, городов-то? До дюжины. Медведково - город. Юго-Запад - город. Коньково-Деревлево - город.

Речной вокзал с районами возле - город. И так до дюжины. И это не считая центра, того именно места, что зовется от века же Москвой.

А Ашхабад обозрим хоть в памяти. Он большой, да маленький. Он еще в человеческом понимании вмещается. И потому всякий человек в нем не песчинка в пустыне, не сам по себе, а на людях. Обозрим, так сказать. Замечен. Куда пошел, с кем пошел - не тайна. Эту нашу пару, бывшего следователя по особо важным делам и бывшего журналиста-международника, только вчера прибывшего, здешнего бедолагу и пришлого, - многие в городе заметили. Шли обнявшись, пошатываясь. Ну что ж, ну что ж...

10

Наутро выяснилось, что и второй из "двух господ" отбыл в командировку. Беседа на высшем уровне с новым сотрудником, стало быть, откладывалась. Впрочем, так ли она была необходима? Для этого сотрудника, для уровня, а уровни у мидовцев играют большую роль, вполне был достаточен ранг Захара Васильевича Чижова.

- Считай, что беседа по вводу тебя в должность с тобой проведена, сказал Чижов, когда, заехав утром за Знаменским, повез его к месту службы. Заполнишь личный листок по учету кадров, ну и все пока, ты оформлен.

- И с чего начнется мой трудовой день? - спросил Знаменский.

- С жары, - попытался отшутиться Чижов. - Какая работа, Ростик, когда уже сорок два градуса? А в Каире у тебя там в такую жару работали?

- Нет.

- А мы чем хуже? Закатимся ко мне, ляжем на пол в зашторенной комнате и будем разговоры разговаривать.

- Кейфовать! - подхватил Алексей.

- Но жара эта продлится тут еще два месяца, - сказал Знаменский. - Нет, серьезно, Захар, что у меня будет за работа, каков круг моих обязанностей?

- Все от случая пока. В такую жару к нам делегации не ездят. Ну, а когда начнется сезон визитов, вот тогда мы тебя и запряжем. По всей Туркмении начнешь мотаться, суток не будет хватать. Одна делегация отбывает, другая прибывает. И всем ты нужен. И по линии МИДа, и по линии Общества дружбы с зарубежными странами.

- Фигаро тут, Фигаро там, - сказал Алексей.

- Сам ты Фигаро! - рассердился Чижов. - Сколько раз просил тебя не вмешиваться в чужой разговор. Представляешь, Ростик, этот бойкий товарищ и с иностранцами пытается разговоры разговаривать. Толкует на всех языках, не зная ни одного. Смех и слезы!

- Да, смех и слезы. Выходит, если по совести, ты пригласил меня, Захар, на ничегонеделание? Может, сложить мне вещички и - домой?

- Я пригласил тебя, Ростик, Ростислав Юрьевич, на работу, на штатную должность, - очень серьезно сказал Чижов, поворачиваясь, - он сидел рядом с Алексеем, - близко придвинув свое лицо к лицу Знаменского. - Понимаешь, на работу?

- Понял, понял, - после долгого молчания откликнулся Знаменский. Он прикрыл ладонью глаза, укрывая их от этого невыносимого солнца и от этой истины, которую он разглядел в строго-печальном взгляде друга. - Прости, забываюсь.

Машина въехала в распахнутые решетчатые ворота, обогнула клумбу, остановилась у ступеней очень славного, в два этажа, особняка.

- Домик Неру! - объявил торжественно Алексей. - Наш офис!

Их никто не встречал. Жара! Да и в доме, когда вошли в довольно просторный холл, никто не вышел навстречу. Собственно, а кого встречать? Чижов был тут своим, а он, новый здесь сотрудник, если даже допустить, что он - сотрудник, был в таком заранговом ранге, что просто не полагалось его встречать, было бы не протокольным его встречать.

Несколько дверей выходили в холл, на каждой - дощечка с указанием фамилии хозяина кабинета. Все как у людей. Были тут и министр, и заместитель его, была тут и канцелярия министерства. В нее и вошли. Зной царил в этой узкой, прямо на солнце окном, комнате. И в этом зное подремывала пожилая дама. Она ничего не печатала, но руки держала на клавишах пишущей машинки. Встрепенулась, когда отворилась дверь, забегали пальцы, застучали клавиши, чья-то начальственная воля стала превращаться в документ.

- Здравствуйте, Захар Васильевич! - Дама чуть приподняла веки, углядела Знаменского и разом проснулась, любопытством вспыхнули ее поблекшие глаза. И сразу вскинулись руки к разжавшейся прическе и слишком распахнутому воротничку. О, женщины! Ей было больше шестидесяти, все увядшим было в ней, жара извела, но вот вошел молодой и пригожий мужчина, и мгновенная была проведена мобилизация всех сил и средств. Даже успела глянуть на себя в зеркальце, помещенное в выдвинутом ящике стола. Зеркальце подсказало, что надо губы друг о друга потереть, чтобы обрели цвет, что было и сделано.

- Здравствуйте, Лидия Павловна, - сказал Чижов. - Вот наш новый референт, Ростислав Юрьевич Знаменский. Прошу любить и жаловать и выдать товарищу личный листок по учету кадров.

Знаменский подошел к секретарше, взял ее очень измученную машинкой и домашней стиркой-готовкой изморщиненную руку и поцеловал. В зеркальце в ящике он увидел ее вздрогнувшие блеклые зрачки, в которых едва теплилась бывая голубизна, и увидел лицо, измученное жизнью, некогда наверняка красивое.

- Что вы, что вы! - сказала Лидия Павловна, вырывая, даже пряча за спину руку. - Никто мне здесь... - Она взглянула на него омывшимися глазами. - Какой вы... - Она не нашла слов, но лицо ее оживало, дрогнули, разжимая морщины, губы. - Какой вы...

- А я что говорил?! - торжествовал в дверях Алексей. - Не обманул, Лидочка?! Он - ого! А когда улыбается!.. Ну, все отдай!

Знаменский как раз улыбнулся женщине, дивясь, что вдруг слезы встали у нее в глазах. Отчего вдруг? Его пожалела? Да кто он ей?! Себя пожалела? Вспомнилось что-то? Вот руку ей поцеловал, а она вспомнила... Он продолжал улыбаться ей, дивясь, что и сам на слезы настроился. Вот уж ни к чему! Он быстро распрямился, отошел, сел боком за канцелярский стол в липких сургучовых метках, будто в следах от солнечных смачных поцелуев.

Какая же это мука, оказывается, заполнять личный листок по учету кадров! Сколько таких листков прошло через его руки. Простейшее дело. Он их, как и всякие там автобиографии, весь этот обязательный бумажный набор, - он все это всегда походя одолевал. Оказывается, и это дело стало теперь тягчайшим для него. Пункт седьмой: партийность. Надо вписывать в этот пункт, что исключен из партии. Потом надо будет написать про это же самое в

автобиографии. За этим столом с прожженным сукном, испятнанным подтаявшим сургучом, который вдруг отвратительно завонял канцелярией, рука не пошла писать. А в руке был "Золотой Паркер". И сидел за этим столом некий фронт заморский, вырядившийся - надо же! - в легчайший, без рукавов пиджак, но все же пиджак, поскольку ехал в офис, выставивший, - торчали ноги, не поместившиеся под столом! - матово-белые туфли, наилегчайшие, заносчивые, явно очень дорогие, те самые, что купил в Брайтоне, самом светском из английских курортов. Он почти не курил, не позволял себе курить, да и стало модным не позволять себе курить, но тут закурил. Из одного кармана достал коробку "ванкемповских" сигарок, это курево богачей, - нашел что прихватить с собой! - из другого кармана добыл "ронсоновскую" золотую зажигалку, нашел что прихватить! Закуривая, заметил, как любуется, восхищается им Алексей, цену назначая всем его вещам джентльменским, и стало ему совсем невмоготу. Он вскочил, сунул все похваляющиеся вещицы в карманы, а анкету протянул Лидии Павловне:

- Жарко! Не могу! Мысли слиплись!

- А и не к спеху, - сказала Лидия Павловна, отводя глаза, не примечая его растерянности. - К концу дня, когда спадет жара, вот тогда и допишете.

- Конечно, конечно, - сказал Чижов, отрываясь от газеты, которую читал, уйдя в угол, где тень была чуть погуще. - Моя вина, что усадил тебя за бумажки в такую жару. А приказ, Лидия Павловна, отбейте. Мол, принят и все такое.

- Это я мигом!

- Я не прощаюсь, Лидия Павловна, - сказал Знаменский. - Спасибо вам...

- За что же? - Она подняла на него глаза, была занята закладыванием листа.

И вот уже затрещала машинка, заколотились молоточки букв, вбивая в бумажный лист приказ о новой судьбе этого человека, столь нарядного, блистательного, столь поверженного.

Знаменский выскочил в холл, выскочил во двор, на ходу стаскивая влипший в плечи пиджак. Никого вроде на пути не встретил, но встретил. Кто-то вошел в дверь слева, кто-то выглянул из двери справа - его разглядывали. Как же это он умудрился так вырядиться?! О чем думал?! После вчерашнего пустой была голова, он о пустом и подумал, надумав явиться на новую работу, никак себя не роняя, будто ничего в его жизни не произошло. Как это не произошло? А пункт седьмой личного листка по учету кадров? Он напомнил. Произошло самое страшное, жизнь его вступила в зону стыда. Стыдно было жить - вот что произошло!

У клумбы с розами, которым дышать было просто нечем, а потому они исходили терпким ароматом, благоухали предсмертно, его ждала Нина Чижова. В наилегчайшем прозрачном платье. В легких, прозрачных туфлях. В широкополой шляпе из соломки. Глаза укрыты громадными кругами темных очков. И еще цветастый зонтик во вскинутой руке. Из дальних стран женщина. Из пальмовых стран. Рядом с ней можно было и не сдирать с плеч, что так и не удалось сделать, этот распижонский пиджак с ярким платочком - и платочек сунул! - в верхнем кармане. Ну зачем, зачем так вырядился?!

- Ниночка! - кинулся он к ней. - Как хорошо, что ты здесь!

проспект Свободы, прошли немного, вот и вход с непременными колоннами, и сразу же за входом просто древняя аллея, такие старые, вековые росли на ней тополя. Эти деревья смыкались кронами. Здесь было волгло, дурманно пахла листва, но все же тут было не столь пронзительно жарко. И людей почти не было. Тихо было. Только пощелкивали сухие выстрелы пневматических ружей из недр паркового тира. Там мальчишки практиковались в стрельбе, гомонили, когда кому-то удавался выстрел.

- Этому парку столько же лет, сколько и Ашхабаду, - сказала Нина.

- А сколько лет Ашхабаду?

- Недавно отмечали столетие.

- Это не возраст для города.

- Но и за эти всего сто лет он уже успел один раз погибнуть. Слышал про страшное здесь землетрясение?

- Слышал. Твой Захар поведал, едва я ступил на эту землю. Смелые люди, сказал, тут живут. Не сбежали, подняли город. Слышал, слышал.

- А что, и смелые. Земля подрагивает тут чуть ли не каждый год. И никто не знает, понимаешь, никто не знает, сколько будет баллов. Пять - пустяки. Семь - страшно. Девять - жертвы, смертельная опасность. Десять - гибель всему. Усек, где мы живем?

- Я и всегда был фаталистом, а теперь... Меня и потянуло сюда, потому что - бах! тарарах! - и нет тебя.

- Тебе так плохо, Ростик? - Нина остановилась, закрыла зонтик, сдернула очки, чтобы поближе можно было заглянуть ему в глаза.

А он, - ну что за человек?! - а он глаза зажмурил, а губы улыбаются. И не понять ничего, дрессированное лицо.

- Выучили тебя, - сказала Нина. - Выдрессировали! А мне вот плохо, и я не улыбаюсь.

- Тебе - легче. А почему тебе плохо? Захар из настоящих, он из надежных. Нет ничего лучше, если рядом с тобой надежный человек.

- И еще, и еще, и еще что-то нужно, - она снова укрыла глаза громадными кругами темных очков, снова раскрыла зонтик, им отгораживаясь, потому что теперь Знаменский на нее глядел.

- Кстати, а где здесь Главпочтамт? - спросил он.

- Думаешь, уже пришло письмо от Лены?

- Мы решили переписываться телеграммами. Трудно ли послать телеграмму? До востребования...

- Пошли. Пересечём парк, минуем сквер, где стоит памятник Ленину, минуем здание Совета Министров, здание банка, крытый рынок, свернем направо - и мы у цели. Востребуй.

- Пошли.

- А она, а Лена, как она теперь с тобой? - тихонько спросила Нина.

- Рассчитывает, что все обойдется.

- Ну понятно, связи. А уж энергии ей не занимать.

Они свернули с центральной аллеи на боковую дорожку, прошли мимо корта, на котором какие-то фанаты изнуряли себя под убийственным солнцем, перекидывая, будто обмякший от жары, мяч.

- Я бы не мог рукой пошевелить, - сказал Знаменский.

- А это еще не жарко у нас считается для лета, - сказала Нина. Ничего, привыкнешь. Человек ко всему привыкает. Я вот привыкла же.

Они миновали скамейку, на которой сидели два очень старых человека, он и она, в одинаковых чесучовых блузах, в одинаковых бесформенных панамах. Муж и жена конечно же. Встретились взглядами, разминулись.

- Представляешь себя таким? - спросила Нина.

- Бог даст, не доживу.

- Да, не хотелось бы.

Знаменский оглянулся. Старые люди о чем-то переговаривались.

- Обсуждают нас, осуждают, может быть, - сказал Знаменский. - Наверно, за то, что так я вырядился. И правы!

- Завидуют, думаю, - сказала Нина.

- Есть чему...

- Со стороны - или не пара? И молодые! - Нина отошла чуть в сторону, глянула на Знаменского, повернулась на каблуках, как бы и себя оглядев, свела его и себя в один огляд.
- Чудо что за пара! Счастливцы! Победители! Знаешь, Ростик, я как вспомню о сыне, так жить не хочется...

Он подошел к ней, обнял за плечи, приподнял ее очки громадные, чтобы можно было заглянуть в глаза.

- Молчи, молчи, молчи! - вырываясь, сказала Нина. Она собралась было заплакать, но вдруг рассмеялась. - А со стороны-то, со стороны... Вот уж обниматься принялись! Одурели от счастья!

Они вышли из парка, молча одолели короткую улицу, в конце которой на тоненьком столбике был водружен крохотный бронзовый бюст Пушкина.

- Откуда он здесь? - спросил Знаменский. - И почему такой уж сверхскромный?

- Этот бюст установлен на деньги гимназисток, - сказала Нина. - Вот этот дом приземистый, мимо которого идем, тут когда-то была женская гимназия. И знаешь, это один из трех домов, которые устояли во время землетрясения. Еще банк...

- И тюрьма?

- Нет, какой-то еще жилой дом, за постройку которого инженера в свое время посадили. Мол, вредительски истратил деньги на слишком прочные стены.

- Жаль все-таки, что тюрьма не устояла. А то бы прямо библейская история. Город сберег свои деньги и своих разбойников. Но все же почему такой крошечный бюст поэта?

Поскупились гимназисточки?

- А мне этот памятник очень нравится. Девочки сложили копейки, именно копейки. Никто не кичился богатством родителей, купцов или крупных чиновников. Нет, сложились по гривеннику, лишив себя порции мороженого. Я этот памятник и этот скверик очень люблю. Как пришла сюда первый раз, сразу подумала: мое место.

- И мое, пожалуй. Ты права, тут славно. Деревья печальные, Пушкин трогательный. Да, и мне теперь придется обживать этот городок.

- Тогда вот и еще одно мое место тебе покажу. Смотри, мы входим в сквер, где стоит памятник Ленину. Смотри, вот он. Подойдем поближе?

- Подойдем.

- Этот памятник не упал во время землетрясения, только мозаичные ковры постамента потрескались. Правда, символично? Не упал Ленин.

- Символично. Но вот ковров уж больно много. Для Ленина. Не находишь?

- Зато он тут тоже, как и Пушкин, очень трогательный. Он не призывает, смотрит, он спрашивает. Мол, как вам тут живется-можетя?

- Жарковато, Владимир Ильич, жарковато, - сказал Знаменский и не рискнул вышагнуть на открытое пространство, где стоял Ленин и где просто невыносимым был зной.

Деревья в сквере росли в отступе от памятника, ему тут просторно было. Все так просторно и должно быть этому человеку, обыкновенно, не картинно вставшему тут, о чем-то, и верно, спрашивающему, руку вот приподнявшему, чтобы этим движением помочь своему вопросу. Пожалуй, про это и спрашивал, как, мол, живется-можетя? Невыносимо стало Знаменскому стоять здесь и смотреть на Ленина. Жгло солнце, но и жгли мысли. Даже не мысли, а одна всего в тонкий звук вытянувшаяся мысль, даже не мысль, а этот именно звук истончившийся, сверливший мозг, боль эта в мозгу, то чувство стыда, которое взорвалось в нем, когда присел к столу, чтобы заполнить анкету. И тут ударила эта боль, этот звук ударил, врезаясь в мозг. Смотреть на вопрошающего, чуть пригнувшегося к тебе Ленина было невыносимо.

- Уйдем! Пекло! - сказал Знаменский.

После этой Ленинской площади под солнцем прохладными показались истомленные в зное аллеи старых деревьев, которыми они пошли дальше. В просветах между ветвями виднелись какие-то стены, торжественные проглядывали портики, - они шли через центр, где стояли правительственные здания, величественные среди величественных деревьев, загадочные от этого воздуха, где воедино сошлись и запахи цветов на клумбах, но и горьковатый запах грозной пустыни, нет-нет да и насылавшей на город огненный выдох своих барханов, но и пронзительный, кинжальный ветер с гор, но и запах сомлевшего асфальта, а все вместе - это был воздух города, вставшего на краю пустыни и у подножья гор, города, под которым часто смертоносно дыбилась земля, где жили смелые люди, про то не задумывающиеся, где живут и какие они. И рядом, в двадцати - тридцати километрах отсюда, была граница с Ираном, и солдаты в смешных зеленых панамках, часто попадавшие навстречу, были в черноту опалены солнцем, еще более неумолимым, чем здешнее. Приграничный город. Да, смелые люди.

Миновав чайхану, новенькую, современную, выполненную "под старину", но не из дерева, не из влажной глины, а из бетонных плит, а потому совершенно не манящую в свою бетонную прохладу, миновав вывернутые чашами купола крытого рынка, эти чаши были тоже из бетона - здешний главный архитектор всюду настаивал на этом несокрушимом материале, - миновав

переговорный пункт, из раскрытых дверей которого вырывались надрывавшиеся голоса, пытающиеся докричаться до Москвы, Ленинграда, Мары, Ташауза, Кара-Калы, Бахардена, Кушки, - про всю страну выкрикивали голоса, - миновав громадные окна парикмахерской, где подвергались самосожжению женщины под сушильными колпаками, пришли, наконец, на почту, на главный почтамт, который был тоже из беззащитного стекла и неумолимого бетона. Взошли по ступеням. В просторном зале гул стоял от работающих кондиционеров, ветерочки тут проносились. Где-то за стеной трещали телеграфные аппараты, где-то девичьи голоса вымаливали, выкликали из далекой дали все те же имена: Москва, Ленинград, Мары, Ташауз... - и радовались, поймав их, и торопили, приказывая: "Говорите! Говорите!"

Почта! Вместилище надежд и разочарований. Теперь ему часто придется бывать здесь, нагибаться вот к этому окошечку с буквой "З", протягивать паспорт.

Знаменский подошел к букве "З", достал паспорт, протянул его молоденькой девушке, которая уже давно заметила эту нарядную пару, из другого мира людей, лишь случайно оказавшихся в ее городе. Все "буквы" заметили их, все девушки в своих окошечках лучами глаз повели их через зал, и каждой "букве", каждой девушке хотелось, чтобы луч-локатор подвел бы эту пару к ней. Зачем? А интересно, что за люди? Вот ведь выдалась этой нарядной женщине счастливая участь. Вон как одета! Вон какой спутник! Ах, какой спутник! Просто принц из сказки!

Итак, принц подошел к букве "З", протянул паспорт. Туркменочка, с выплетенными косичками, строго стянувшими ее маленькую голову, большеглазо поглядела на него, заглянула в раскрытый паспорт, быстро, смуглыми пальчиками перебрала пачку писем и телеграмм в ящике, и Знаменскому показалось, что эти пальчики перебирают для него варианты судьбы. А вдруг?! Когда не везет, отказала удача, черная пошла полоса, только и надежды на это "А вдруг!". Он не ждал никаких добрых вестей, да и что могло поменяться в его судьбе за два-три дня, но здесь, на почте, где в ящичках, как в лотерейных барабанах, заложена судьба, ворохнула сердце надежда.

- Есть! - радостно воскликнула девушка, которой очень хотелось порадовать этого принца. - И еще! - она протянула Знаменскому две телеграммы, улыбнувшись так, такой зажегшей все личико улыбкой, какой бы и он не сумел улыбнуться, этот мастер на улыбки.

- Спасибо, милая! - сказал он и все же рискнул посоревноваться с ней, ответно улыбнувшись.

И так они посверкали друг на друга улыбками, этими знаками своих душ, и одна душа была беспечальной, а другая лишь притворялась.

- Вы ждете перевод? - спросила озабоченно девчушка. Она знала, что мужчины больше всего радуются переводам, но не было ему перевода, она не могла его обрадовать. А вот телеграммы, она знала, мужчины не любят, телеграммы несут тревогу. Но что может опечалить такого счастливицу? В прекрасной одежде женщина терпеливо ждала его у входа. Такие, как он, получают только счастливые телеграммы.

- Вы артист? - спросила она. - А переводы у нас к вечеру поступают. Загляните. Я вас где видеть могла? В кино?

- Во сне, - сказала ее напарница, тоже туркменка, сидевшая на букве "И". Это была постарше девица, уже и морщинки разочарованья улеглись у губ.

- Ай, Джамал, зачем так говоришь?! - обиделась и возмутилась девчушка, будто подруга выдала ее сокровенную тайну. И дальше заговорила по-туркменски, быстро нанизывая слова, колкие, резкие, как маленькие камушки, летящие с крутой горы. И подруга стала отвечать на туркменском: два камнепада слились и вызвенились, напомнив, что за этими стенами из стекла и бетона близко стоят горы, что где-то рядом грозная лежит пустыня, что в небе

яростное повисло солнце, что он, Знаменский, очутился сейчас в стране Туркмении.

Прислушиваясь к этому быстрому, колкому говору, к непонятым, неуступчивым словам, Знаменский медленно шел через зал к Нине, по пути читая телеграммы. Первая, что побольше, была от матери. Она беспокоилась, как сын долетел, как его приняли, она умоляла, чтобы он писал, берег себя, берег себя. Дважды были отпечатаны в телеграмме эти два слова: "Береги себя, береги себя". А дальше следовали в тексте еще два слова, которые наверняка телеграфистка советовала убрать, но отправительница настояла на них. После дважды "Береги себя" телеграфный аппарат отстучал: "Восклицательный знак", и в этом, в настойчивости этой, в восклицательном настойчивом знаке был весь ее характер, его матери, ее жизненный напор, отданный ему, ему, только ему, ее единственному сыну, ее надежде и гордости. А вторая телеграмма, от жены, была, напротив, предельно лаконична: "Как ты там" - и все. И никакого, конечно, пропечатанного двумя словами вопросительного знака, который был и не нужен, конечно же, он вытекал из текста. Но и никакой подписи. А вот подпись бы тут пригодилась. Ну хоть это самое наипростейшее, естественное: "Твоя Лена". Не было "твоей Лены", анонимен был вопрос про то, как он там. Чья телеграмма, от кого? А кто его знает! Он-то знал, что от Лены, но она не подписалась. Стыдится? Таится?

Он подошел к Нине, которая, с покорностью женщин востока, ждала его, тая лицо под широкими полями шляпы.

- От Лены? - спросила она.

- От мамы и от Лены. - Он показал Нине телеграмму жены. - Смотри, даже не подписалась. Как думаешь, почему?

- Деловая... Зачем лишнее слово?... - Нина не знала, что ответить, прятала глаза под широкими полями шляпы.

- Вообще-то, даже два тут полагаются слова: во-первых, "твоя", во-вторых, "Лена". Вот такие вот, Ниночка, мои дела, если правду сказать.

- Я думаю, ты не прав, ты усложняешь.

- А ты говоришь не то, что думаешь, ты утешаешь. Ладно, подожди еще минуточку, я отвечу ей. - Он шагнул было назад в зал, Нина попыталась удержать его:

- Не сейчас, Ростик. Поостынь чуть-чуть.

- Негде тут остывать. Я мигом.

Знаменский отыскал глазами окошко, где принимались телеграммы, быстро подошел к нему, радуясь, что нет очереди, быстро заполнил бланк. После адреса написал всего три слова, сами написались, из-под руки выскользнули: "Сорок три градуса". И все. И никакой, разумеется, подписи.

- А подпись? - спросила женщина в окошке, русская, немолодая, усталоглазая, с потекшими, сомлевыми от жары плечами.

- Все!

- Впрочем, понять можно, - сказала женщина, чуть пробуждаясь, умно всматриваясь в нарядного этого, пригожего и удрученного чем-то мужчину. Углядела она и его спутницу у дверей. Ох-ох-ох, молодые люди... Вам ли печалиться?..

На улице, когда из сквознячков кондиционерных снова погрузились в плотный зной, Знаменский сказал Нине, погордился своей находчивостью:

- Отстучал ей всего три слова: сорок три градуса. Что и соответствует действительности.
- А как подписался?
- Никак.
- Вот спадет жара, и ты тащи ее сюда, - сказала Нина. - Ух, погуляем! Тут замечательно осенью. Закатимся куда-нибудь. Тут такие места, такие селения в горах... Вы как уговорились, когда ее ждать?
- Никогда, наверное. Разве что на денек-другой. У нее очень плотный график, знаешь ли. Своя карьера. Свои друзья. Как ей вырваться?
- Я бы вырвалась, - сказала Нина, отвернувшись от него, на что-то там заглядевшись. - Смотри, караван верблюдов прибыл в город! Какие важные! Какие прямо царственные! А я бы вырвалась... Пойдем к нам обедать? Или хочешь, пойдем, я покажу тебе наши базары. Вот этот, крытый, называется по старинке "русским", а есть еще "текинский базар", он интереснее, а по воскресеньям есть у нас толкучка. Ты напиши Лене, там можно приобрести старинные украшения из серебра. Редко, но попадаются действительно старинные вещи. Ты напиши, примани женщину. Ты ведь знаешь нас, женщин? А у тебя разве не было своих друзей? Мне рассказывали... Москва гудеть начинала, когда ты в нее возвращался из очередной заграницы. Я, представь, интересовалась, как ты там, Ростик Знаменский, живешь-поживаешь.
- А вот заманивать как раз вас, женщин, и не нужно, - сказал Знаменский. - Это последнее дело, вас заманивать. Смотри, мой приятель идет! Мой здешний внезапный сотоварищ! Тесный, тесный у вас городок! - Он поднял руку, позвал: - Ашир! Ашир! Приостановись! Сейчас, Нина, я тебя познакомлю с бывшим следователем по особо важным делам. Не смотри, что он такой пообносившийся. Пьет! Горе у него! Понимаешь, у нас с ним совпало! И, скажу тебе, умнейший малый!
- Кто? Этот? - Нина заметила в толпе на прибазарной улице, а они по этой толкучечной улице сейчас шли, человека, которому махал Знаменский. Этот человек нерешительно приостановился, явно не обрадовавшись встрече, явно готовый шмыгнуть куда-нибудь и затеряться. И на расстоянии было видно, что он не совсем тверд в своих движениях.
- Ростик, но это же какой-то бродяга, - сказала Нина.
- Пропился, так думаю. Но, поверь, умнейший парень. Да ты сейчас убедишься.
- А вот и нет! - обрадовалась Нина. - Смотри, припустил от нас! Сбежал! Пожалуй, не глуп. Понял, что мне бы было трудно с ним знакомиться.
- Действительно, только что был в толпе Ашир, а вот его и нет. Куда подевался? Здесь, среди этих лотков, киосков, лавчонок, жаровень, в снующей толпе, совсем не трудно было исчезнуть. Пригни только голову, согни спину и нет тебя.
- Жаль! - искренне огорчился Знаменский. - Мы с ним вчера содержательный вечерок провели. Говорили, говорили, даже легче мне стало.
- Пили, конечно?
- Конечно. А как бы еще могли по душам поговорить?
- Ростик, не кажется ли тебе, что не с таких знакомств надо здесь начинать? - вовсе не укоряя, а лишь заботу свою выказывая, спросила Нина.

- Начинать? Ты считаешь, что я приехал сюда начинать? А не заканчивать? Да вон же он! Ах, паршивец, спрятался в пивнушке! Сейчас я его достану! Знаменский рванул было, но опомнился, вернулся к Нине, взял ее за руку, поднес руку к губам.

- Прости, Нина, прости великодушно, но меня неудержимо тянет к этому бродяге. Верно, тебе незачем с ним знакомиться, а я побегу. Отпускаешь? Прощаешь?

- Но ты придешь к нам обедать?

- После пивнушки-то? Ниночка, от меня будет дурно пахнуть. Но завтра, завтра - обязательно. Приглашаешь на завтра?

- В любой день, Ростик. Мы с Захаром всегда тебе будем рады. - Она подумала, поколебалась и вдруг помолила: - Ростик, прошу тебя, уйдем отсюда!

Он внимательно поглядел на нее, заглянув под широкие поля шляпы, помедлив, поискав слова, попросил:

- Нина, ты не жалеешь меня... Хуже нет...

- О чем ты?! - Она распрямилась, даже оскорбилась, наиграла, как могла, свое возмущение.

Но он ей не поверил:

- Хуже нет... Так я побежал?

- Беги...

Она проводила глазами его засновавшую в толпе спину, будто окрылившуюся от этого из невесомой ткани пиджака, который сейчас впорхнет в грязное нутро прибазарной пивной, плечи ее, словно озябнув, вздрогнули. Сновавшие здесь люди обтекали ее. Здесь ей не место было. И она торопливо пошла отсюда. Ведь город был глазаст, приметлив, как все азиатские города. С кем шла жена дипломата? Почему вдруг осталась одна? А спутник ее нарядный куда побежал? Ну что ж... Так, так...

12

В пивной, в павильоне из пластика и стекла, отвратная загустела вонь. Прокисшее пиво, выплесками сохшее на бетонном полу, рыба шелуха по углам, пластик, неистребимо вонючий, - все это липло к взмокшим телам мужчин, смешалось с запахом их пота. Тут и минуты нельзя было продержаться. А вот держались мужички. Даже подолгу держались, потягивая пиво. А иные, грифами или кондорами, сонно сидели у стен на корточках, отдыхали, обратив сонные глаза на улицу. Но чуть появлялись женские ноги, глаза грифов и кондоров просыпались, округлялись, лучились хищным светом.

- Ну и разоделся! - встретил Знаменского Ашир. - А я знал, что ты сюда заглянешь, взял для тебя кружечку. Пей! Подвиньтесь, кунаки!

Он стоял у высокого стола, у залитой пивом и заваленной рыбьими ошметками поверхности из пластика, тошнотно пахнущей. Мужчины, обступившие эту поверхность, сонно присосавшиеся к пиву, неохотно подпустили новенького к столу. Им было не любопытно, кто явился. Они действительно подремывали, сомлев от жары, духоты, уйдя в свои думы. Тут не шумно было. В таком бы последнего разбора портовом шалмане, ну, в Неаполе, в

самом-самом паршивом закуте, где так же вот пахло, - запахи запоминаются, - гул бы стоял, ор, смех и брань висели бы в воздухе. Здесь - нет, тихо было, не в обычае тут было орать. Пили пиво, молча, сосредоточенно, отрешенно. Можно бы еще прибавить: истомленно. Ведь если начал пить пиво в такую жару, то уже не остановишься. Знаменский знал об этом.

- Может, не стоит? - Он нерешительно взял кружку, поднес к губам, рыбью унюхав вонь от стекла.

- Ну, не пей!

Знаменский поспешно поставил кружку, отодвинул от себя.

- Может, уйдем отсюда?

- Ну, уйдем, - Ашир взял его кружку, вылил пиво в свою, начал пить, явно без охоты, но допил до дна. - Пошли!

Вышли на шумную улочку, где, оказывается, расчудесный жил запах близкого базара, дыней пахло, виноградом мускатным, дымком жаровень. И не так уж было жарко, оказывается. Если плохо тебе, человек, загляни в еще худшее, и тогда назад потянет, как к радости. Таков всеобщий закон.

- Как после вчерашнего? Вижу, умеешь пить. А я думал - развалишься. Нет, обучили по границам. - Ашир, насмешливые, в прищуре, косил на Знаменского свои угольные, без белков, глаза. - А зачем так вырядился? На службе был? И кто же ты теперь?

- Референт без дела.

- Но в МИДе?

- Да, в вашем.

- Все-таки... А я вот безработный.

- Рассказал бы толком, что все же с тобой стряслось. Галдели, галдели мы вчера, но больше про себя и для себя.

- Правильно говоришь. Для того и пьем, чтобы выговориться, объяснить там что-то. Кому? Себе! Мысли-то рвут башку. Надо их выпустить, надо их в звук превратить. Вот этим вчера и занимались.

- И сегодня займемся?

- И сегодня, если поднесешь. Я - пустой.

- Куда пойдём?

- Лучше бы к тебе, к Дим Димычу. Светлана Андреевна сегодня выходная, раз вчера дежурила. Погляжу на нее. Я в нее влюблен. Вдруг да подсядет к нам. О, она строгая! Не всегда такой была. Ну, какой она была! Ай, какой она была! Но теперь улыбки не допросишься.

- А почему?

- Заинтересовала? Стенка в стенку теперь будете жить. Завидую тебе.

- У нее что же, своей квартиры в Ашхабаде нет?

- Все у нее есть, все, все у нее есть. Нет, я тебе не завидую. Когда такая женщина рядом, только труднее дышать. К ней руку не протянешь. Ты пошутил, а у нее презрение в глазах. Бежать надо от такой. Но, может, подсядет сегодня? Все-таки вы оба русские... Она запрещает мне даже смотреть на нее. Раз закричала на меня, чтобы не смотрел. "Все вы одинаковые!" крикнула. Я ее понимаю, я ей все могу простить. Я вел ее дело.

- Господи, и у нее что-то не в порядке?!

- А я ее люблю. Слово даю, пошел бы за ней на край света.

- Есть еще и подальше Ашхабада край? - усмехнулся Знаменский.

- Есть. Ну, приглашаешь к себе?

- Пошли. Но тогда надо прихватить что-нибудь.

- Прихватим в "Юбилейной". У меня там буфетчица знакомая. Вел ее дело.

- Буфетчица? Так ты же по особо важным был.

- Женщины, учти, всегда в особо важные влипают дела. Без женщин таких дел и не бывает.

- А у Светланы Андреевны - тоже особо важное было?

- Следователи не болтливый народ, учти. Про себя - можно, про других молчок. Пешком идти долго, в троллейбусе надо ехать. Пошли к стоянке. Побежали! Вон троллейбус!

На стоянке, когда подбежали, толпился народ, все больше женщины, потные, с большими сумками, хурджумами, из шершавой, жаркой и на глаз ткани. А троллейбус, когда подкатил, когда раздвинулись неохотно его двери, таким жаром дохнул, столько в нем людей было, что сунуться в его нутро показалось Знаменскому делом невозможным.

- Поехали на такси! - ухватил он за рукав Ашира, ринувшегося было к дверям.

- Совсем ты у нас бай, Ростик Юрьевич, - сказал Ашир и вяло поднял руку, шагнув на проезжую часть. - Когда отвыкать начнешь?

Машины проносились мимо, не было среди них такси. Но вот и мелькнул зеленый огонек, но тоже промчался мимо.

- А, будем час тут стоять! - сказал Ашир. - Наши таксисты любят сами себя катать.

Но проскочившее такси вдруг остановилось, а потом, - о чудо! - начало пятиться к ним, а водитель, когда машина встала, перегнулся и распахнул дверцу:

- Прошу, Ашир Атаевич!

- А, знаешь меня? - зорко глянул на водителя Ашир. - Поехали, Ростик. Знакомый человек приглашает. Знакомство - великая сила.

Уселись позади водителя, машина рванула, старенький это был драндулет, разболтанный, выцветший и извне и изнутри, но поджарый, горбоносый хозяин был похож на джигита, он и был джигитом, и машина слушалась его, трепетала и рвалась, как старый, а все-таки ахалтекинской породы конь.

- Куда, Ашир Атаевич? - спросил водитель и вдруг быстро, негромко еще что-то спросил по-туркменски.

- К "Юбилейной" подскочи, - сказал Ашир. - Он меня спрашивает, Ростик Юрьевич, почему я такой... Слушай, друг, сейчас говори со мной по-русски. Он мне сочувствует, я так думаю. Ну, пью, полоса такая.

- Вы вели мое дело, Ашир Атаевич, - оглянулся водитель, глянув вскользь и на Знаменского. Аширу его зоркие, тоже в уголь глаза подарили уважение, по Знаменскому скользнули с любопытством.

- Я так и подумал. Вспомнил тебя. Не твое я тогда дело вел, Чары, ты в чужой арбе оказался. Два года?

- Два.

- Меньше получать мужчине неудобно.

- Спасибо вам, справедливый человек. Все искал вас по городу, в персональных машинах высматривал, думал - в гору пошли, а вы...

- Кто в гору идет, тот и сорваться может. Не жалей, не жалей меня, джигит. Машина почему такая старая?

- Честно работать хочу, потому. Тому дай, тому сунь - тогда на новенькой "Волге" покачу. А два года? Я их не забыл. Слушай, прости, Ашир Атаевич, зачем пьешь? Зачем такой? Нам хорошие люди нужны. Зачем ты так? Прости, пожалуйста.

- Что тебе сказать? Следователь - вредная работа, друг, опасная работа. Попью немножко и остановлюсь.

- Обещаете?!

- Не обещаю. Надеюсь... А тебе, за сочувствие, хочу дать совет. Как бывший следователь. Бывший... - Ашир замолчал, будто забыл, что посулил что-то посоветовать, он замолчал, замкнулся, понурился.

Машина остановилась на тихой, в ухоженных деревьях улице, где по правую руку стоял осанистый современный дом с лоджиями, с внутренним двориком, видным за нарядной решеткой, где рдели розы, а по левую руку тоже осанистое протянулось здание из бетона и стекла, за которым зелеными зарослями начинался ботанический сад.

Вышли из машины, Знаменский протянул водителю трешку, но он ни Знаменского, ни денег его не заметил, он на Ашира смотрел, все ждал, что тот ему скажет. А тот уже отошел от машины, далеко отошел, идя, пришаркивая, сутуло, и вдруг обернулся, распрямился, крикнул:

- Честный человек, Чары, самый богатый!

Чары, невысокий, сухой, воистину наездник, подобранный, быстрый, вскочил в машину, как в седло, рванул ее с места в карьер, пришпорив и прикрикнув, развернул без всяких правил, промчался мимо Знаменского, радостно чему-то скалясь.

- А деньги?! - Знаменский взмахнул трешкой.

Промчалась машина, умчалась.

- Куда?! - крикнула из-за стойки женщина, когда Ашир переступил порог ее владений, а это был зал, стены которого были обшиты деревом, паркет сверкал, а оконные стекла, которых тоже было тут в избытке, были обряжены будто в нарядные юбки, сперва кисейные, а потом парчовые.

После зловонной пивной этот зал показался Знаменскому дворцом. И здесь прохладно было, откуда-то шел ровный, спасительный гул кондиционеров. Вдали, где мерцала стойка и где и стояла строгоголосая женщина, лица которой было не различить, - там в пестрый ряд выстроились вместо привычных бутылок конфетные коробки, трогательные мишки на Севере, ромашки российские, желтое поле колосающейся пшеницы - Родина встала в глазах, сложившись из этих коробок.

Но Ашир спокойно шел, пришаркивая, к стойке.

- Куда?! Куда?! - чуть поубавила голос женщина, все внимательнее всматриваясь в Ашира, даже через стойку перегнулась. - О, аллах! Ашир Атаевич, это вы?..

- Я, я, Роза-джан. Не узнала сперва?

- Да как же я могла вас узнать, Ашир Атаевич?! - Женщина выбежала из-за стойки, кинулась к Аширу, руки сведя ладонями, замерла возле него. - Я слышала, в городе говорили, но... Но я не верила, Ашир Атаевич, я и сейчас не верю. Может быть, вам деньги нужны? Скажите только. Я кольца продам, серьги... Все с себя сниму!..

Это была пожилая, поблекшая женщина, но еще продолжавшая воевать с наступившей старостью: выкрасилась, став красно-рыжей, брови подведены, губы щедро подмазаны. Но ведь жара. И весь этот грим чуть потек, а красно-медная высокая прическа сбилась, устали старые волосы держать фасон. На пальцах кольца, в ушах сережки, на морщинистой шее золотая цепочка, платье из дорогих, сразу видно, хоть и явно жарковатое, не по сезону. А в черных глазах выбелилась и старость, и усталость. И в эти старые глаза сейчас набежали слезы. Лицо женщины, зажив сочувствием, старушечьим становилось под молодящим ее гримом.

- Ничего такого продавать не надо, Роза-джан, - попытался улыбнуться Ашир. - А продай-ка ты нам пару бутылочек, какой-нибудь еще закуски на вынос, вот и все. Мой коллега заплатит, деньги у него есть. Пока. Кстати, познакомьтесь. Это, Ростислав Юрьевич, знаменитая наша Роза-джан! Ну, что было, то было, а сейчас она внуков воспитывает и в этом скромном правительственном буфете работает через день. И все - копеечка в копеечку. Столовая Совета Министров этот буфет снабжает, ей оказано высокое доверие. Тут ведь правительственные у нас клиенты. Не смотри на меня так, Роза-джан! А это - наш новый ашхабадец, Ростислав Юрьевич Знаменский. Ну, что было, то было, а сейчас он с нами. Да, да, Розочка, в городе тебе все правильно сказали... Выгнали меня с работы, отказали в доверии, знаешь ли, да, да, говорят, что я взятки брал, да, да... Верить?

- Нет! Это неправда! - Женщина гневно выпрямилась, шагнула даже к дверям, будто кинуться хотела куда-то, чтобы немедленно опровергнуть эту неправду. - Я сама вам предлагала! Знаю, и другие предлагали! Разве вы взяли?! Вы не взяли! Про вас и молва такая шла: "Не берет!" Это неправда! Оговорили вас, Ашир Атаевич! Да, оговорили? Почему?.. - Она приблизила к нему свои в затеках туши плачущие глаза. - Почему?..

- Длинный разговор, Роза-джан, ненужный разговор. - Ашир устало подсел к столу, рукой поддержал голову, вдруг устав безмерно. - Дай-ка нам чего-нибудь хлебнуть, иссох совсем.

- Сейчас! Сейчас! - Она кинулась к стойке, рванула дверцу холодильника, спеша, спеша,

будто за спасительным кинулась лекарством.

Хлопнула пробка шампанского, вырвавшись к потолку, излилось радостной пеной шампанское в бокалы, да и на пол, покуда несла, и вот запенились бокалы на столе перед Аширом и Знаменским. И они начали глотать этот праздничный напиток, а буфетчица, смаргивая слезы с тушью пополам, со стороны смотрела на них, старую руку с кольцами подведя под подбородок.

- Это с какой такой радости льется тут шампанское?! - раздался громкий, напористый, отчетливо сановный голос.

На лестнице, спускавшейся в буфет из гостиничных покоев, картинно встал полноватый, вернее, дородный мужчина в той загадочной поре, когда, если издали глянуть, и пятьдесят человеку может быть, а может быть и под семьдесят. Он одет был вольготно, по-домашнему, в какой-то рубашке-апашке, в штанах явно пижамного происхождения, ноги в шлепанцах. А разве он здесь не у себя дома? Сановно, но не избыточно, выпирал из-под рубашки живот, совсем худым и неловко быть, когда обременен ты властью, а то, что это был человек, наделенный властью, в этом усомниться было невозможно. Он так и оделся наипростейшим образом, выходя на люди, что ему дозволена была подобная простота, наперед прощалась ему. Но - лицо... От этих шлепанцев, уверенно попиравших ступени, от этого живота начальственного, слышав голос этот сановный, и лицо ожидалось под стать, округлое, щекастое, увы, самодовольное. Нет, не такое у этого человека было лицо. Неожиданным оно оказалось. Странно смуглое, оливковое, с запавшими щеками, с отеками в подглазьях. Больное лицо. Что - голос? Что - осанка? Как ни оденся, как ни прикинься, а лицо твоё, человек, оно про все расскажет.

Важно переступая, чуть растянув губы в приветливой в меру улыбке, кивнув коротко хозяйке буфета и еще короче этим двум, что пили шампанское в такую-то жару, зорко, цепко оценив каждого взглядом, не удивившись здесь Знаменскому, то есть человеку, под стать этому месту, и изумившись его сотоварищу, человеку, по внешнему виду для сих мест неприличному, мужчина подошел к буфетной стойке, пальцем маня к себе буфетчицу.

- Роза Халимовна, нарзанчик мой, прошу вас, - он позволил себе благосклонно оглянуться. - Эх, завидую вам, молодые люди!

- Проездом из Байрам-Али? - спросил Ашир.

- Как угадали?

- Да уж угадал. Не пейте нарзан, уважаемый товарищ. Попросите у Розы-джан стаканчик мацони, снимите пенку, там сыворотка будет, вот это и пейте.

- Откуда вам известно, что мне не показан нарзан? Вы врач?

- Да уж известно. Нет, не врач.

- Личным опытом делитесь? Тогда отчего же вы с утра хлещете эту отраву, если у вас почки не в порядке?

- У меня почки в порядке. - Ашир долил себе в стакан, выпил, нарочно утерся рукавом, насмешливо буравя сановного мужчину своими дульцами. - Вот почки у меня в порядке. Сердце - тоже. Легкие - тоже. Желудок - тоже. Счастливый человек, да?

- Вообще-то, именно так, счастливый. - Заинтересовавшись, мужчина подошел к Аширу, разглядывая и его и Знаменского, вдруг отвлекшись от Ашира, а заинтересовавшись больше Знаменским.

- Позвольте, позвольте, а ваше лицо мне знакомо. Разрешите? - Он подсел к их столику, продолжая всматриваться в Знаменского. - Как же, как же... Ну, вот и узнал! Как же, как же... - Он оглянулся, повеселевшим голосом приказал: - Роза Халимовна, еще бутылочку от меня молодым людям! Надо же?! Узнал, узнал... А я, извольте, рискну отведать вашего мацони! Вдруг да то самое! Ростислав Знаменский, если не ошибаюсь?

- Не ошибаетесь, - кивнул Знаменский. - Но я вас, хоть убейте, не могу вспомнить.

- За что вас убивать? Вы меня действительно не знаете. Успех лишает нас зоркости. Вы солировали, я был в толпе. Всякий раз, как встречались. Вы солист, я - в толпе. Всякий раз.

- Где же это все происходило? - спросил Ашир, буравя своими дульцами. Ростик, ты вроде бы не оперный певец.

- В посольствах, в посольствах, молодой человек, на приемах, на а ля фуршетах, где копченостей навалом, там как раз, где я просадил свои почки, оливковоликий трагически поширил глаза, наигрывая печаль и даже ужас, но наигрывать не стоило, печаль и даже ужас на самом деле жили в этих пугающе густо выжелтившихся глазах.

Буфетчица принесла бутылку шампанского и граненый стакан с мацони.

- Правильно Ашир Атаевич говорит, - сказала она. - Мацони от многого может излечить. Или хотя бы облегчить.

- Ашир Атаевич? - глянул на Ашира оливковоликий, сравнивая свое впечатление от него, - по одежке ведь встречаем, - с явно почтительным отношением к нему весьма уважаемой тут хозяйки буфета. - Кстати, позвольте представиться. Александр Григорьевич Самохин, Чрезвычайный и Полномочный Посланник. Учтите, все три слова пишутся с большой буквы. Ну-ка, что за чудодейственная сыворотка? - Он снял ложечкой жирную пленку в стакане, осторожно-осторожно зачерпнул, осторожно-осторожно поднес к вытянувшимся трубочкой губам, с явным трепетом отведал.

- Смелее! - подбодрил его Ашир. - Ручаюсь, что не навредит. И вообще, если уж лечите почки в Байрам-Али, то и пейте все туркменское. Если не секрет, в какой стране вы Посланник? Я мысленно произнес это слово с большой буквы, верьте мне.

- Ого, занозистый! - по-другому как-то глянул на Ашира Самохин, этот Чрезвычайный и Полномочный Посланник. - Отлетели мои страны, молодой человек, отшумели. Но ранг, звание нам сохраняются. Верно говорю, уважаемый Ростислав? Вас как по батюшке?

- Юрьевич.

- Да, отлетели. А я про вашу историю чуток наслышан, Ростислав Юрьевич. Пошумела Москва. Наслышан. Но мне ли не понять? Молодость, соблазны, куда ни глянь, а ты - сам один, посоветоваться не с кем. Так?

Знаменский не ответил.

- Но... А все-таки, а все-таки... В мое время побольше было строгости, спасительной, скажу вам, строгости. На связи уповали? Угадал?

- Зачем этот разговор, товарищ Посланник? - Знаменский отрешенно глянул на старика, да, старика, - близко к семидесяти было этому человеку с сановной фигурой и больным лицом.

- Не сердитесь на меня, Ростислав Юрьевич! - Самохин просительно положил руку на руку Знаменского. - Я не про вас. Вообще, общие рассуждения. Связи, связи! Престижи! Чего-то не умею по-стариковски понять. Простите. Вот, войну всему этому объявили. Победим ли?..

Рука у него тоже была больная, с выжелтившимися ногтями.

- Я не сержусь, - сказал Знаменский.

- Как мое мацони? - спросил Ашир. - С недельку по стакану утром, по стакану вечером - и жажды нет, и почкам делать нечего. Точно говорю! Ростик, хлебом еще, раз бутылка стоит, уважим Посланника?

- Не подтрунивайте, не надо, - сказал, вдруг построжав, даже озлившись, Самохин. - Верно, Посланником я был, но и сегодня кое-что еще значу. Так какие служебные обстоятельства занесли вас в столь знойные места, Ростислав Юрьевич? - Голос у него стал строгим, официальным, сановные в нем зазвенели струны. - Тесть пристроил? Помог, конечно же? А я что говорю?!

- В местном МИДе начинаю работать. Что-то вроде референта. Скорее, переводчик, сопровождающий гостей.

- А я что говорю? Все-таки... Вы ведь вне партии пока?

- Да.

- Место, в таком случае, не из плохих. МИД - он везде МИД!

- Но наше мацони помогает почкам, когда печень не раздувается, негромко сказал Ашир, глядя не на Самохина, а на буфетчицу. - Верно говорю, Роза-джан?

- Любое лекарство так, - сказала буфетчица, утаивая улыбку в морщинах у губ. - Сердитая душа не излечивается. - Она поклонилась мужчинам и направилась к своей стойке, плавно ступая и раскачиваясь, зная, что еще не старуха и что мужчины смотрят ей вслед.

- Но и сегодня кое-что еще значу, - упрямо набычил шею Посланник.

- Никто в этом не сомневается, раз вы остановились в "Юбилейной", миролюбиво сказал Ашир. - Тут только для избранных.

- Да, да, именно так, молодой человек, стало быть, заслужил, имею право. Кстати, с кем имею честь?

- Да какая уж честь. Ашир... Местный житель... Вот, познакомились, угощает товарищ Знаменский.

- Да, да, превратности судьбы, понимаю. Ну, а я переброшен на иностранный туризм. Слыхали? Учрежден такой комитет. Весьма нешуточное дело, если вдуматься. Государственный комитет СССР по иностранному туризму. Наш председатель в ранге министра. Наша главная задача - показать страну всему миру. Усекли, молодые люди? Ростислав Юрьевич, вам-то понятно, сколь важна эта работа. Лицо страны показываем.

- Именно, именно! - внезапно очень заинтересовавшись, горячо закивал Ашир. - А разве мало интересного в нашей Туркмении? Вы только в Байрам-Али побывали, Александр Григорьевич?

- Ну, еще в Мары. Возили на экскурсию по земле древнего Мерва, показывали развалины средневекового мавзолея султана Саджара. Впечатляет. Вы думаете, я в Байрам-Али только лечиться ездил? Вот именно, выяснял, а нельзя ли сюда наших туристов направлять.

- Мало! - горячо сказал Ашир.

- Что - мало? Мало где побывал? Я еще согласился на Марыйскую ГРЭС съездить, хотя и не люблю индустрию с черным над собой небом.

- Мало! - еще азартнее сказал Ашир. - Побывать в Туркмении и ничего не увидеть... Ай-ай, нехорошо! Заведовать иностранным туризмом и проскочить через такую страну... Вай-вай, нехорошо! Ну, хотя бы Красноводск... Небит-Даг... Кара-Кала...

- Если по вашей Туркмении путешествовать, месяца не хватит.

- Года, дорогой, года! Но я вам только два-три места назвал, которые вам и для дела нужны, и для тела. Для вас, для вас с вашим нефритом.

- У меня нет нефрита, с чего вы взяли?! Предрасположение всего лишь.

- Для вашего предрасположения, согласен. Ведь Красноводск - про это мало кто знает! - еще целебнее имеет климат, чем Байрам-Али. Да, да, зной и море. Не просто море, а знойное море. А Небит-Даг? Пустыня! Зной! Целебный зной для вас! А Кара-Кала? Ведь это же сухие субтропики! Сухие! Вы понимаете, что это означает для ваших почек? Я уж не говорю, что это родина нашего великого Махтумкули! Побывать в Туркмении и не быть в нашем Михайловском?! Ай-ай, как нехорошо!

- Что с тобой, Ашир? - попытался унять его Знаменский. - Ты прямо как на базаре торгуешь красотами своей Туркмении.

- Почему торгую?! Добрый совет даю! Мацони и в Ашхабаде есть, это так, но от мацони маленькая польза. А от верблюжьего чала вы бы просто на десять лет помолодели, Александр Григорьевич! Пили чал? Нет! Эх, тогда совсем не были в Туркмении! Чал - это чудо! Он все смывает, все промывает и через поры выходит. Только через поры. Это же напиток чабанов, караванщиков. Это же из верблюжьего молока делается! Совсем нежирный, совсем будто прозрачный напиток, но - чудо творит!

- Так, так, так, чал?! - заинтересовался Самохин. - Я слышал о нем, мне говорили. Надо попробовать. В Ашхабаде на базаре он есть?

- Есть, привозят иногда. Но разве это чал?! Он должен быть свежим. Его нельзя далеко везти, он как ваш сибирский омуль, как алма-атинский апорт. Он теряет в пути свои целебные свойства. А где его родина? Где стада верблюдов прямо на шоссе выходят? А вот по дороге из Красноводска в Кара-Кала. Там, только там, дорогой Александр Григорьевич, у чабанов, в любом селении можете получить вы этот чудодейственный напиток в первозданном виде. Воздух! Зной! Море и пустыня лоб в лоб! И чал! Я не шучу, вот ваше место на земле после всех этих ваших банкетных копченостей. С неделю попьете чал, подышите воздухом прикаспийским - и забудете про свои почки! Я не шучу! Роза-джан, ты все знаешь, я правду говорю?!

- Чал от многого лечит, - отозвалась буфетчица. - А воздух там сухой, это так. Но очень уж жарко... И воды не достать, чтобы руки даже вымыть... Не знаю...

- Вот и хорошо, что жарко! Нам это и нужно! Мало воды? Есть, теперь есть вода. По трубам от Каракумского канала туда воду подвели. Ты отстала от жизни, Роза-джан!

- До Красноводска еще не довели, но до Небит-Дага, верно, довели, сказала буфетчица. - Я не отстала от жизни, Ашир Атаевич.

- Хорошо, согласен, ты не отстала от жизни! Но в Красноводске есть великолепный опреснитель. В гостинице, особенно в "люксах", всегда есть вода. Я там жил, я знаю. А какой у Красноводской ТЭЦ замечательный пансионат на берегу Каспия - ты про это знаешь? Там

один старый армянин сказку сотворил! Весь берег из роз! Виноградники! Гранатовые рощи! Пляж! Теплое море! И нет туристов! Они просто не знают, что существует этот рай! Обидно!

- Да, заманчиво, заманчиво излагаете, молодой человек, - сказал Самохин. - Вы с кем там в доле? Почему вам так нужно, чтобы я туда поехал?

- Вот! - воздел руки Ашир. - О век двадцатый, сомневающийся! С кем я в доле? Какая мне выгода? Ну, есть, есть выгода, согласен.

- Ага! - обрадовался Самохин. - Излагайте, раз заманиваете.

- Ну, во-первых, отрядили бы с вами нашего Ростика, - стал загибать пальцы Ашир. - А ему надо нашу страну посмотреть, если уж он сюда приехал работать. Раз. Ну, во-вторых, этот армянин, что создал пансионат на пустынном берегу, давно нуждается в поддержке, в рекламе, а он мой друг. Два. Ну, а в-третьих, дорогой товарищ, а что, если я хочу, чтобы вы поправились? Я для вас хорошее сделал, вы для меня что-нибудь сделаете. Вот мои выгоды.

- И все?

- Мало этого?

- Ну, я так думаю, еще какое-нибудь порученьице у вас для Ростислава Юрьевича найдется. Угадал? Отвезти что-нибудь, привезти что-нибудь. Угадал? Там икра в Красноводске, так думаю, еще бывает. Угадал? Икра?

- Да, опытный, опытный вы человек, товарищ Посланник! - Ашир даже головой покрутил, восхищаясь. - Горячо, горячо... Там и барашки есть, шкурки. Но вы не о моей пользе думайте, вы о своей пользе думайте. Там чал! С большой буквы произношу: Чал! Там сухой воздух! Для кого Байрам-Али, а для кого - Красноводск или Кара-Кала. Свой для каждого микроклимат, отыскать только надо. Рискнете? Рискните, советую! Слетайте на недельку. И по службе вам зачтется. Ну, и Ростик с вами нашу Туркмению поглядит. Согласен, Ростик?

- Там выкупаться можно будет?

- Замечательное море! Замечательный пляж! И никого, почти никого! Это тебе не Ялта, где как на тюленьем лежбище! Завидую, просто завидую!

- Вот бы и слетали, - сказал Самохин, полный недоверия, но уже и охваченный тем азартом, который всегда готов вспыхнуть в больном человеке, слышавшем о целебной какой-нибудь травке, о целебном вот воздухе или чале этом, действительно целебном, он и раньше слышал, напитке.

- А на какие шиши? А кто меня пошлет? Кто пустит? Туда, в Кара-Калу, пропуск нужен. Граница с Ираном. Нет, мне туда дорога закрыта. А куда она мне открыта? - Ашир будто рукой смахнул с себя все оживление, вдруг поник, отрешился, отгородился, смолк.

- А что, а что - и слетаем! - сказал, оживляясь, теперь он загорелся, Самохин. - Слетаем, Ростислав Юрьевич? На недельку? Я договорюсь, вас со мной пошлют. Конторы-то у нас родственные.

- Я не против, - сказал Знаменский. - Хоть служба пойдет.

- А в Москве вас всячески отрекомендую, что помогли. Тестю вашему отзвоню. А?! Чем не чал?! Пейте, пейте, молодые люди! - Самохин разлил шампанское по стаканам. - Чал... Да... Надо попробовать... Ну, а пока я с вами мацони чокнусь. Глотну глоточек, Ашир Атаевич, за вашу идею, стало быть! За добрый совет!

- Вот и хорошо, - не поднял головы Ашир. Но руку протянул, взял, обхватил тонкими пальцами стакан, стиснул, дрогнула рука, расплескивая шампанское.

14

Ничего не случилось, разговор этот вроде бы ни к чему не обязывал, был не слишком серьезным, напоминал обычный застольный треп, но Знаменский почувствовал, что его опять повели. Всю жизнь так, сколько себя помнит, с детства еще, когда брали за ручку, чтобы отвести в школу. Он привык. Он давался чьим-то рукам, чьей-то воле. Будто бы решал сам, но и не сам. Его наставляли, ему подсказывали, его вели. Ничего плохого ему не делали. Напротив, напротив. Все шло и даже катилось, как по маслу. В гору шел, только в гору. И помогавшие, ведшие его, облегчали ему восхождение. Он привык. И он был им всем благодарен, должен был быть благодарен, - они желали ему добра. Он такой уродился, что ли, что все желали ему добра. А когда споткнулся, то тут он сам виноват, вот уж тут он сам виноват. Самостоятельность проявил? Увлёкся? Забылся? Ну вот...

Они быстро допили шампанское и расстались. Но на прощание Самохин посулил, что завтра же побывает в МИДе, что обо всем договорится, а там и в путь.

- До Красноводска как лучше всего? - спросил он Ашира.

- Только воздухом. Час пути.

- А потом?

- Можно на машине, можно и на вертолете, если уважат Посланника. Вы им объясните там, что для целей иностранного туризма, скажите, что...

- Найду, найду что сказать! - посуловел Самохин. - Учить меня не следует. Ростислав Юрьевич, до завтра! Утречком, покуда эта печь не слишком разгорелась, все и обделаем. - И удалился, важно переступая по лестнице, издали сановный, самонадеянный.

Знаменский подошел к стойке, улыбнулся сочувственно буфетчице, разглядывая конфетные коробки, столь красочно ныне потеснившие бутылочную рать.

- Что она у тебя пьет, Ашир? - оглянулся он.

- Ничего или всё. Бери, что есть. Не думаю, чтобы она к нам подседала.

- А ничего и нет кроме шампанского, - сказала буфетчица, радостно откликаясь на улыбку Знаменского. - Не пойму, а вы кто? Ну, видела я вас! По телеку?

- Возможно. Мелькал иногда. Отмелькался. Роза-джан, соберите нам что-нибудь выпить и закусить на одну даму и троих мужчин, - сказал Знаменский и стал добывать из тесного брючного кармана слипшиеся четвертные. - Сойдет и шампанское. Пьет же наше шампанское из Крыма аж сама английская королева. Ящиками ей шлем.

- Особенно-то деньгами не бросайся, - сказал Ашир, подходя к стойке. Он был какой-то озябший, поник совсем, будто застольный этот треп действительно был серьезен и даже истомил его.

- Думаешь, этот Самохин клюнул на твое предложение? - спросил Знаменский.

- Полетите, полетите.

- У тебя действительно есть какое-то для меня поручение?

Ашир не ответил. Глянул только быстро и не ответил.

Вернулась из подсобки Роза-джан, неся в вытянутых руках картонный ящик.

- Сколько с нас? - спросил Ашир.

- Да что вы, Ашир Атаевич?!

- Э, нет, дорогая.

- Вы столько для меня сделали... До самой смерти не забуду...

- Так не пойдет, Роза Халимовна. Я не для того тебе столько сделал, чтобы ты по старой дорожке опять пошла. - Злым стало у него лицо. - Почему столько золота на тебе? Откуда?

- Ах, Ашир Атаевич! Ах, какой ты! - Она любовалась им, в его злые глаза заглядывая с любовью. - Вот какой ты! Спасибо, что ты есть! А золото, что золото? Разве ты не знаешь, что старые татарки все драгоценности, что от матери, от бабушки сбереглись, носят на себе? Чтобы не отобрали. Ты знаешь. И у туркменок так. А дома у меня палас дырявый и топчан из неструганых досок. Ты же знаешь...

- Зайду, проверю, - чуть смягчился Ашир. - Слово даю, проверю.

- Ой, заходи! Я тебе ноги у порога вымою! Как отцу родному...

- Ну, ну...

Ящик понес Ашир, не дал его Знаменскому.

- Выпачкаешься, - сказал.

Они шли по тихой улочке, по которой вчера проезжал Знаменский на машине, и улочка открывалась ему по-новому. Глаза невольно выискивали, чему бы тут порадоваться, - ведь ему теперь жить в этих местах. Они прошли мимо школы, большого здания с большими окнами, забранными в решетчатые из бетона узоры по первому этажу. Архитектор полагал, что узоры эти из бетона украсят его школу. Так, наверное, на рисунке и получалось, но встал дом, но грянуло солнце, но налетели из пустыни ветры с колкой пылью, дожди со снегом пролились зимой, и бетонные цветы-узоры угасли, запылились, краска сошла с них, всякий сор забился в прорези и извивы, и замыслы архитектора, его мечты на бумаге, погребла реальность бытия.

Но зато, когда свернули за угол, где школьный двор открылся и где полно было ребятишек, собравшихся здесь летом, чтобы ехать в пионерский лагерь, замысел другого архитектора восхитил Знаменского. Это были мальчики и девочки из младших классов, тут, на школьном дворе, резвилась человеческая молодежь. Уже были поданы автобусы, мамы и бабушки уже скликали ребят, но дети играли. Девочки были в длинных национальных платьях, тюльпанами разбегались они по двору, мальчики, хоть и в форменных костюмчиках, как-то так приспособили к себе эту форму, что казались не школьниками, а маленькими джигитами, они и прыгали тут, и скакали, будто сидели на лошадях, их главной игрой тут было перепрыгивание через довольно высокую металлическую ограду туда-назад, туда-назад. Толстая труба ограды была отполирована их телами. Прыжки иные были просто рискованными. Но смотрели на джигитов девочки, перебегая стайками, замирая и дивясь, и надо было рисковать. И мальчики рисковали, чуть ли не цирковые выделявая номера. И вот

тут вот и ожили серые стены школы, тут архитектор удивительную явил свою талантливость. Тут и небо было на месте, хоть и палило неистово, тут и горы близкие были очень нужны, уместны, тут и эта площадка, залитая асфальтом, не казалась унылой, а цвела тюльпанами, тут даже обыкновенная труба ограды, над которой метались ловкие тела, не казалась трубой, а была барьером ловкости и мужества. Вот такую школу и запомнят до конца дней свои эти ребяташки, мужать будут, стареть будут, а в глазах их удержится этот двор, это небо, горы, эти милые стены, а в памяти сбережется, что были ловки, смелы, не слышали своего тела, что будто летали они, умели летать. Да, иной тут работал архитектор, иными располагал и материалами, от железной трубы до снежной вершины и знойного неба.

Знаменский обрадовался этому школьному двору, столь близкому от его нового дома. У него не было детей, Лена не хотела обременять себя. А он и не задумывался, нужен ли ему ребенок, мелькали дни, некогда было о чем-то таком, извечном, подумать. Но к ребяташкам тянуло. Где бы ни очутился, всегда заглядывался на таких вот, как они, мелькавших и скакавших. Теперь он сможет иногда бывать здесь, место было из радостных и для глаз, и для души.

Вдали открылась та улочка, на которой стоял дом Дим Димыча, его теперь обиталище. Там совсем было тихо, дувалы тянулись вровень с кровлями, кроны тополей, сходясь в вышине, выстлали по улочке густую тень, арычная вода позванивала, шла быстро. Вступая сюда, человек вступал в тишину и благодать. И он теперь жил тут. На всех почти дверцах, врезанных в дувалы, в крепостную их толщу, висели бумажки, на которых коряво было начертано: "Квартиры нет". Здесь не сдавали комнат, здесь жили для себя, потаенно, своим миром. А ему вот сдали. Он шел сейчас домой, к себе. Но на этом "к себе" мысль упиралась как бы в стену, в толстый, из вязкого самана дувал. Куда - к себе? Кто там его ждет? И сам ли шел? Вчера его сюда привезли, сегодня его сюда повели. Он вдруг спросил у Ашира, приостановившись:

- О каких эта Роза-джан взятках говорила? Тебя что же, уволили за взятки, Ашир?

И Ашир приостановился.

- Что ж, давай поговорим, - сказал он устало. - Да, считается, что я уволен из прокуратуры за взятки. Почти никто в это не верит, но факт получения мною денег, так сказать, зафиксирован. Не совсем, конечно. Иначе бы я сидел. Почему никто не верит? Тут я не прав. Кто захотел, тот поверил. Нашли в моем служебном сейфе пачку денег, толстую пачку, происхождения которой я не смог объяснить. Подсунули? Но ключ был только у меня. Он был, правда, когда-то и в других руках, у моего предшественника. Но когда это было? Мне надо было сменить замок, но мой предшественник был моим другом. Словом, не совсем убийственный факт, но достаточно убивающий, чтобы можно было прогнать, запятнать, уволить - вот оно, это слово! - за несоответствие! И это еще милосердно! - Ашир не заметил, что перешел на крик. - И это еще спасибо мне надо говорить! Пожалели, с учетом былых заслуг!

- Я не верю, чтобы ты мог взять взятку, - сказал Знаменский. - Ну, не верю. И эта Роза-джан так говорила... А она из бывалых. Подсунули? А кому это нужно было, Ашир?

- Вот! - Ашир вдруг затравленным движением огляделся по сторонам, сникая, сводя голос на шепот. - Вот... Я это и должен установить, дорогой товарищ... - И опять он непонятно себя повел: дурашливо взмахнул руками, плечи как-то свел-передернул, как-то жалко-беспечно, ухмылочкой пьяноватой развел губы, скалясь, будто радуясь. - Но я вот пью-гуляю, горе запиваю! В Ленинграде долго жил, совсем русским стал! Меня обидели, прогнали - я пью! "Бродяга я!.." - затынул он резко и фальшивя. Он встряхнул ящик, там зазвенели бутылки. - Вот сейчас добавим! Такие дела!

- Ашир, тут же никого нет вокруг, - близко подошел к нему Знаменский.

- Думаешь? Идем, идем, не оглядывайся... - Ашир, не разжимая губ, заговорил, едва расслышал его слова Знаменский: - Не оглядывайся, говорю... И чему вас учили, дипломатов?... Ты кем был, разведчиком?

- Журналистом, Ашир. Понагляделся ты, смотрю, детективов.

- Ну, ну... А вербовали тебя всерьез или тоже по-киношному?

- Теперь начинаю понимать, что всерьез.

- Начинаешь понимать... В этом все дело! Понять! Самому! Нас учили дознаваться истины. Отлично! Это когда ты следователь по чужим делам. А когда самого воткнули? - Ашир лихорадочно произносил слова, но все время прислеживал за ними, чтобы не вырвалось бы какое в звук, не сорвалось бы на волю, для чужих ушей. И он все время озирался, хотя на улочке ну никого не было, ну ни единой души. Допекли человека! Теней от деревьев стал страшиться.

- Что ты, Ашир, никого же тут нет, - сказал Знаменский, тоже повнимательней оглядевшись.

- Никого, я вижу, - согласился Ашир. - Никого! А знаешь, какие у нас тут дела недавно отшумели? У нас тут министр юстиции дважды стрелялся - в этой тишине.

- Попал, наконец?

- Не шути про такое! Попал! Думаю, помогли старому человеку... Вот такие дела, а вокруг - никого. Смели половину судей, селом прошлись по МВД, по прокуратуре, а вокруг - никого.

- Когда такой идет разгон, часто достается и невинным. Это твой случай. Разберутся...

- Другой у меня случай. Другой! Противоположный!

- Ты чего-то недоговариваешь.

- Еще договорю. Теперь уж придется. Пришли! - Ашир остановился у двери перед домом Дим Димыча, ладонью медленно провел по лицу. И удалось ему, стерла ладонь его лихорадку, успокоенным сделалось лицо, приветливым даже, приготавливающимся для чего-то доброго, радостного.

Он толкнул дверь, она легко отворилась, разом открыв глазам дворик перед крыльцом, мир этот мирный со сливовым в фиолетовых плодах деревом, с виноградными лозами, с близкими вдали коричневыми горами. И тот же столик стоял, уйдя ножками в берега поливных канавок, и те же дары земли сошлись на нем, такой сотворив натюрморт, какой не дано бы было написать и великому мастеру, и тот же Дим Димыч тут был, мелькала за деревьями его сутуловатая, деятельная спина, и Светлана Андреевна как раз появилась на ступенях дома, по-домашнему одетая, совсем в простеньком платье и очень, кажется, красивая. Все, о чем уже знали глаза, что и ожидалось, чего и хотелось. Но жило в этой картине и нежданное. У стола, прямо, большеглазо глядя на входящих, стоял мальчик лет десяти. Он был разительно похож на мать, на эту женщину на ступенях дома. Он был очень серьезный какой-то, совсем не такой, как те мальчишки, что прыгали возле школы, джигитую и хохоча. У него был взрослый взгляд. Он был, как нестеровский Отрок, так же серьезен, задумчив. Показалось Знаменскому, что за отворившейся дверью открылась ему картина на какой-то библейский сюжет, с виноградными лозами на переднем плане и горными вершинами на заднем. А в центре - этот мальчик, большеглазо застывший.

- Чего уставился? Входи! - сказал Ашир и первый переступил порог, весело встряхнув ящик,

чтобы зазвенели бутылки. - Светлана-джан-Андреевна, принимай гостей!

Знаменский тоже переступил порог. Дверь за ним притворилась, мир замкнулся на этом дворе, на увиденной им картине. И здесь не просто было, здесь ощущалось какое-то напряжение.

- Здравствуйте, Ростислав Юрьевич, - сказала Светлана. - А это мой сын. - Она сошла с крыльца, подошла к мальчику, коснулась рукой его плеча, наклонилась к нему - и два родных лица подтвердили друг друга. - Дима, вот этот человек, который облетел и объездил весь мир.

Сказав это, она так же серьезно, как сын, посмотрела на Знаменского, зрачки у нее напряглись, она будто ждала чего-то, что тревожило ее, даже угнетало, хотя бестревожны были ее слова, обыкновенны, а мальчик был пригож, ну, серьезен, но пригож, им можно было только гордиться.

Но откуда-то, сперва не понял он откуда, звук протянулся, вымучился звук, будто невнятное кто-то произнес слово, вымучил слово, понять которое было нельзя. Откуда этот странный звук? У мальчика шевелились губы, трудно, смято. Так это он произнес, выдавил слово? И еще такое же... Он был немым!

- Да, да, у Димы затрудненная речь, - сказала Светлана, быстро кивав, как кивают, когда подтверждают нечто само собой разумеющееся, короткой улыбкой сопроводив свои слова, как улыбаются, когда хотят убедить, что ничего особенно печального, непоправимого не произошло. - С ним занимается замечательный логопед. И он обещает... Он уверен... У Димы всего лишь логопатия, речевая недостаточность, а слух у него замечательный. Но, представьте, не желает учиться музыке, все интересы его сосредоточились на географии, на путешествиях, на истории. Я нарекла его Димой в честь нашего Дмитрия Дмитриевича, но я просто подумать тогда не могла, что с именем передастся ему и профессия крестного. Вот ведь как бывает!

Она говорила, говорила, совсем иная лицом, чем та, вчерашняя, строгая и сердитоглазая, высокомерная даже, какими умеют показать себя женщины, зная себе цену, читая и презирая эти мужские взгляды, столь наскучившие, столь голые, умея показать свое пренебрежение, свою холодность и высокомерность в миг всего кратчайший, когда проходят мимо, как прошла она мимо вчера. А сейчас совсем иным было ее лицо, оно измучилось от всех этих слов, произносимых - вон как?! - чуть-чуть с запинкой, будто и она сама была не чужда речевой недостаточности, всего чуть-чутьочной этой помехе в жизни. А вчера, те несколько слов, которые она произнесла, сухо сообщая, что идет на дежурство, были произнесены без запинки.

Мальчик снова заговорил, сминая губы, вымучивая в звук непонятные слова. Мать напряженно вслушалась в эти слова, угадывая их мысль, переводя:

- Дима спрашивает, были ли вы?.. Где, Дима?.. Везувий?.. - Мальчик кивнул. - Ты говоришь, Помпеи?.. - Мальчик кивнул. - Вот, он спрашивает про Помпеи. Дался ему этот город, рухнувший в 79 году после рождества Христова. Но, представляете, у него целая папка собрана про этот город и еще Геркуланум. Книжки, открытки. Дим Димыч надарил. Вот уж и я скоро займусь историей.

Мальчик ждал ответа, не сводя со Знаменского громадных глаз.

- Да, я был там, - сказал Знаменский. - И к кратеру вулкана поднимался, а потом был в городе, который когда-то залил лавой этот Везувий. Там в музее хранятся слепки людей, настигнутых лавой. Там есть дворик патриция, ну, честное слово, чем-то напоминающий вот этот дворик, где мы сейчас стоим. Такое же небо, угадываются горы, виноградными лозами

расписана мозаика стен и пола. - Ах, как сейчас старался Знаменский! - Знаешь, там расчистили от лавы дороги, и когда ступаешь по громадным плитам-камням, которыми они выложены, чувствуешь себя как-то очень странно, будто ты там, в том времени, сын этой земли. - Очень, очень старался Знаменский, пытаюсь угадать, чего ждет от него мальчик. - Там есть амфитеатр, кстати, отлично сохранившийся, где, откуда ни заговори, каждое слово твое слышно... - Да, перестарался Знаменский, умолк виновато.

Но Дима его оплошности не заметил, Дима улыбался радостно и увлеченно, он был ребенком, и ему нравился этот заезжий человек, который так увлеченно ему принялся рассказывать про все то, про что он сам отлично знал, но по открыткам и книжкам, а этот рослый дядя там был, там ходил.

И улыбалась Светлана, радуясь радости сына, счастливой этой минуте.

Подошел Дим Димыч, еще издали кивая. Предовольный был у него вид.

- А в баню ихнюю заглянули, Ростислав Юрьевич? - спросил он. - У них там что-то вроде спортивного зала выходило. И баня и гимнастические упражнения, игры. Умели жить древние! Все проще у них было, на колесницах передвигались - заметили глубокие колеи от грубых колес на дорогах? - но, просто-то просто, а жили, кажись, умнее нас, сложных да быстрых. Природнее жили.

- Да, был и в бане. Нет, там мне не понравилось. Это в Риме бани были гимнастическими залами, а там, в Помпеях, какие-то маленькие, с низкими потолками комнаты, крошечный бассейн, выдолбленный в камне, каким-то подземельем мне показалось это место.

- Ага, вы не учли главного! - обрадовался Дим Димыч. - Зной! Там не только мылись, там спасались от зноя. Нам бы такую баню! Нет, умели, умели жить древние.

- По слухам, пировали без меры, - сказал приунывший Ашир, уныло присевший на свой ящик с бутылками. - Так пировали, что проворонили извержение, хотя их предупреждали, я читал, предупреждали.

- А мы, Ашир, вот здесь вот, вот тут вот, - затрясся у Дим Димыча палец, когда он стал тыкать им себе под ноги, - а мы не проворонили?! Собаки накануне выли, овцы, все отары за три дня уже сбились в гурты, встали голова к голове и ни с места, а мы - ноль внимания! Нет, люди ничему не умеют научиться! История не учит, а констатирует! Мы - неразумные! Мы беспечнейшие! Мы... Уж и не знаю, как нас обозвать...

Стало тихо. Да, вот тут, на этой земле, погибли у него двое маленьких детей и в калеку превратилась жена.

- Вы думаете, почему наш мальчик заинтересовался гибелью Помпеи? снова заговорил Дим Димыч. - А потому, что он ашхабадец. Не важно, что землетрясение наше произошло за многие годы до его появления на свет божий. Не важно! Он на такой же земле живет, как и та - на грозной! Здесь все у нас нешуточное. И мальчик понимает это. Сердцем понимает. Дети умеют понять очень многое. Они умнее нас, если хотите. Взрослея, мы теряем, а не обретаем. Уверен! Теряем, а не обретаем. Они... они ближе к природе...

Не удалось застолье с горделивой Светланой Андреевной, присевшей у краешка стола, снизошедшей до них. Сломался образ. Иной открылась. И она, иная, не могла быть сейчас

рядом с ними, а занялась сыном, который пришел к Дим Димычу, и тот тоже не мог быть с ними, а занялся мальчиком, у них много было общих дел, общих интересов, Дим Димыч был мальчику крестным, а немой этот мальчик был ему из прошлого голосом, памятью его собственных детей, драгоценным был для него гостем.

Уселись вдвоем у столика, вяло попивая теплое и противное шампанское, оказавшееся в картонном ящике Розы-джан.

- Лучше бы там и остались, у Розы, - уныло сказал Ашир. - А то жуем ее плов остывший, который особенно не идет под горячее шампанское. Знаешь, я заметил, ты понравился мальчику. Что я ни делаю, он со мной ни разу не улыбнулся. У тебя талант располагать к себе людей. И даже Светлана, - Ашир понизил голос, - даже она стала смотреть на тебя по-другому. Ты ей свой. Между вами сами по себе ниточки протягиваются. Тут ничего не поделаешь, дорогой, тут ничего не поделаешь. Человечество опутано ниточками, которые тоньше паутины и крепче каната.

Вышла из дома Светлана, ведя сына. Она переоделась, они собирались уходить. Вчерашний строгий костюм был на ней, но не вчерашней она была, сломался образ, смягчился, что-то утратила она в глазах Знаменского, но что-то обрела, поближе ему стала - у него беда, но и у этой женщины беда. Еще какая! И у Дим Димыча вся жизнь из бед, и у Ашира все скверно, - дом этот, люди здесь были под стать ему, одним миром мазаны, ему легче тут дышалось. И горы, и небо, и древняя земля, грозно притихшая, - тут ему и жить, в мазанке этой, а дальше уже и некуда.

- До свидания, Ростислав Юрьевич! - сказала Светлана, вскинув руку. Дима прощается с вами. Нам пора в интернат. К нашему доктору. До свидания, Ашир!

Ашир вскочил, выпрямился, статным стал, хоть и был в бесформенной одежде.

- До свидания, Светлана Андреевна! Дима, не забывай старого Ашира! Глаза его осветились, и на смуглое лицо всплыл румянец.

Мать и сын ушли, а Ашир все еще стоял, долго стоял, прислушиваясь к их удаляющимся за дувалом шагам.

- А ты знаешь, Ростислав Юрьевич, что такая женщина, как она, возможно, единственная во всем мире. - Он сел, налил себе, но пить не стал. - Да, да, я не шучу. Вот здесь, вот сейчас, из этой хибарки вышла самая лучшая женщина в мире. Я знаю, что говорю. Я вел ее дело. Я видел ее в унижении. Я видел ее на суде. Я вижу ее рядом с этим мальчиком. Я все знаю про нее. Она удивительная!

- Ты любишь ее, Ашир?

- Зачем спрашиваешь?

- А за что же ее на суд?

- Это пусть она тебе сама расскажет. Она - расскажет. Вот сына привела. Почему? Как думаешь?

- Я не думал об этом. Сын попросился к Дим Димычу, вот и привела.

- Нет! Она к тебе его привела. Почему?

- Не знаю, Ашир.

- Она не желает, чтобы ты про нее обманывался. Гордая! Вот почему! Нет ничего прекраснее,

чем гордая женщина. Мы унижаем своих женщин, но мы хотим, чтобы они были гордыми. Ислам очень противоречив, скажу тебе.

- И ты у нас верующий? - попробовал улыбнуться Знаменский.

- Со мной все в порядке, я не верующий. Но ислам - это не только вера, это и обычаи. Суры Корана, сунны Корана. Нет другой религии, которая бы так вторгалась в жизнь, в быт человека. Каждый шаг расписан. Каждый поступок оценен. Мы, теперешние, не верим, но мы все еще в плену обычаев, иные из которых совсем не плохи, иные терпимы, но иные - отвратительны. Да вот хотя бы одна недавняя история... Ты выпьешь?

- Нет.

- А я выпью. Горячее шампанское - это нечто. Рассказывать?

- Ты же хочешь рассказать.

- Умный. Да, хочу. Так вот... В одном нашем областном городе, тебе не важно знать, какая это область, - лишнего тебе знать не нужно, - жил да пил один молодой джигит. У-у, какой джигит! Когда он в Ашхабаде работал, весь город его знал, все рестораны гудели. Но - уехал, перевелся в родной город, туда, где родное селение рядом, где родное племя вокруг. Куда меньше Ашхабада город, куда больше простора. Совсем просторно! Ну, совсем, понимаешь, совсем! Жена молодая у него была. Приревновал. Убил! И ее, и любовника! И ничего, оправдали. Понимаешь, совсем просторно! Оправдал наш советский суд. А потому что и в сурах Корана, и в суннах Корана, и у шиитов, и у суннитов изменившую жену велено убить, как шелудивую собаку. Изменившую мужу женщину может и должен побить камнями любой сосед. Так повелевает обычай. От седьмого века. Но и сегодня. Совсем рядом, в Иране, например. Ты спросишь, при чем тут Уголовный кодекс и суры и сунны? А вот об этом и речь. Уголовный кодекс - молодой, наши обычаи - сложились в веках... Когда они шли по базару, их приветствовали, в ресторане им посылали вино. Я затребовал это дело. Оно и издали не показалось мне слишком простым. Я слишком хорошо знал убийцу. Если бы он чтит предписания ислама, он бы не был пьяницей, бабником, картежником, не баловался бы кокнаром или тирьеком, а это - опийный наш наркотик. Одно возражало другому. Зачем такому убивать? Ну, прогони! Вот тут как раз наш кодекс подходит. Прогони, возьми другую, третью, пятую. Тут мы шире ислама. Согласен со мной? А? Выпьешь? Налить?

- Нет.

- Не наскучил мой рассказ?

- Я слушаю.

- Да, я оказался прав в этой истории о ревности, а мы народ ревнивый, каким-то все неясным было, не стыковалось в деталях. Я доложил, Верховный суд республики вынес протест по приговору, я сам повел это дело. Для начала наших ревнивцев взяли под стражу. И это было моей ошибкой. И мой протест, и моя активная позиция. Тут я повел себя как мальчишка, как стажер. Убийца был сыном влиятельного в том городе человека. Не велик город, но велик пост. Месяц не прошел, и я узнал, что оба убийцы снова на свободе. Больными оказались. До суда, мол, пусть полечатся. Не велик город, но велик пост. И позор на его голову! Но я и тут повел себя, как мальчишка. Я выпью, пожалуй. Не осуждаешь, что я все время пью? На меня не действует. Сразу выкипает все. Жаль, конечно. Да... И вот тут-то нашли в моем сейфе ту самую толстую пачку денег, о которой я уже говорил. Возможно ли?! В прокуратуре республики?! Такое?! Но пачку подложили! Клянусь тебе! Ты мне веришь?!

- Да.

- Подложили! Но это еще не все. Мне важно было понять, кто это сделал. А тем, кто это сделал, важно было понять, готов ли я уняться или полезу на кинжал. Они ждали, они терпеливо ждали, считая меня умным человеком. А я действовал, я стал распутывать клубок. Но я заторопился, у меня было мало времени. А надо было понять, почему они пошли на такую крайность, на такой риск. Из-за этого ревнивца и гуляки? Ну пусть отсидит два-три года. Нет, из-за него на такой страшный подлог не пошли бы. Меня знают все-таки. Меня в Москве знают, в Ленинграде. Они страшно рисковали. Но - кто они? Но - почему пошли на такое? У меня было мало времени, я спешил, а когда спешишь, открываешься. Я открылся, стало ясно, что я многое успел узнать, понять, что я становлюсь действительно опасным. Те, кому я стал опасен уже всерьез, тоже заторопились. И вот я здесь, перед тобой, Ростик... - Ашир поднялся, держа стакан в руке, сутулый, жалковатый в повисшей рубашке, в этих штанах пузырями. Он, кажется, сейчас нарочно себя таким жалким, будто побитым, подавал, на себя как бы со стороны поглядывая. - Считаешь, что проиграл?

- Считаю, что отобьешься, - не очень уверенно сказал Знаменский. Правда-то на твоей стороне...

- Красиво, очень красиво говоришь, товарищ. Как в пьесах. - Ашир прошелся туда-сюда по дворику, до виноградных лоз дотронулся ладонью, в небо поглядел, на солнце сквозь свой стакан глянул, прищурившись. Он явно играл, подтрунивал. - Правда... Ее доказать надо, дорогой товарищ... Добыть... А я, сам видишь, какой я... Ладно, что унижен, я связан, у меня путы на ногах, как у непокорного верблюда. - Он вдруг к Знаменскому наклонился, обдав горячкой своей, жар шел от него, спросил жарким шепотом: - Ты поможешь мне, Ростик?..

Ростик... Ростик... Его вовлекали в какую-то явно рискованную историю, его опять "повели", взяв, даже схватив за руку, а все-то он Ростик, Ростик...

- Мало мне своих забот, Ашир? - Знаменский откачнулся от него, от этого жара в нем. - И что я могу?

- У тебя связи.

- Какие там связи?! Где был, где очутился? Ровня мы!

- Нет, тут ты не прав. - Ашир снова уселся на свое место, спокойным вдруг стал, не пригубив, отставил стакан, насмешливо, колко поглядывая на Знаменского. - У тебя, Ростик, всё куда хуже, чем у меня. У меня совесть чиста. Есть разница?

- Ну и убирайся тогда, если ты такой благополучный! Пей! Гуляй!

- Не злись. И я не пью и не гуляю. Но это хорошо, что ты так думаешь. Пусть и все так думают. А я работаю. Но мне нужна помощь, Ростик. Пойми, я стреножен. Мне шагнуть никуда не дают! Я думал, вот приехал человек, которому надо заслужить доверие, вернуть назад доверие... Я подумал, надо познакомиться с этим человеком... Может быть, не все уже кончено для него?.. Мы познакомились... Ты еще не конченный человек, Ростик... Ты избалованный человек... Ты жил как в сказке... В той, в такой, где нет правил, где все можно... Там не кисельные берега у вас, там вообще нет берегов... Но... К счастью... Я так думаю, насколько знаю людей, а я знаю людей, со сколькими в грязи вывалялся, я думаю, что ты не безнадежен... Я решил, ты согласишься мне помочь...

- Так вот зачем Дим Димыч сдал мне свою комнату? Ну и ну!

- Не злись. У Дим Димыча свои планы касательно и тебя, и меня, и Светланы, и маленького Димы, и вообще вселенной. Он строит души. У меня планы поскромней. Мне нужно, чтобы Ростислав Юрьевич Знаменский слетал через недельку-другую в Москву. На денек. Всего лишь на денек. К себе домой. Навестить жену. Это так естественно. Ну и, заодно, встретился

бы там кое с кем из влиятельных своих приятелей. Да что приятели, у тебя же тесть министр. Вот этот уровень мне и нужен. Мне нужно, чтобы мое письмо дошло до самого верха. Понял?! К Самому! Вот и все, что от тебя требуется, Ростик.

- Сам бы и слетал. Тем более, как ты утверждаешь, тебя в Москве знают.

- Мне нельзя. Чужой человек, совсем, смотрю, наивный человек. Международником был? Совсем, смотрю, наивный международник. Вот тебя и повели.

- И сейчас ведут. Это так, ведут!

- Не злись. Пойми, я на крючке. Каждый мой шаг под присмотром. Ну, полечу, если в самолет пустят, ну, прилечу, если долечу. Кто я? А, этот Ашир Атаев из Ашхабада, выгнанный за взятки! Кто меня выслушает? Жалобщик... Обиженный... Дежурный по прокуратуре возьмет брезгливо письмо, он его и закроет, а то и перешлет сюда, в Ашхабад. И тогда... - Ашир вскрикнул, сжался, обеими руками схватившись за живот, будто кто вонзил ему туда нож. И такая боль развела его губы в яростный оскал, что почудилось: убит человек. Но вот он и снова распрямился, даже ухмыльнулся кривовато, взял стакан, жадно стал пить.

- Тогда походи в ЦК, - сказал Знаменский. - Пробейся на прием. Тут-то тебя действительно каждый знает.

- И каждый знает, что меня еще будут судить, если не пожалеют, знают, что я спиваюсь. Вон какой! Кто станет со мной разговаривать? А вот то, что я пришел в ЦК, а вот про это кое-кто узнает... И тогда!.. - Он снова, но уже медленным движением, прижал ладони к животу. - Нет, никуда не денешься, ты мне нужен, Ростик. И еще больше стал нужен, когда подвернулся этот случай с этим Посланником. Удача! Счастливым случаем! Если, конечно, ваша поездка состоится. Но думаю, что состоится. Как думаешь?

- Глупые затеи всегда удаются. Этот глупый Посланник, пожалуй, клюнул на твой чал.

- Он не глуп, Ростик, ты ошибаешься. Он просто несчастный, смертельно больной старик. Ах, как ты плохо разбираешься в людях! Баловень! Баловень!

- Ну, хорошо, про Москву мне хоть что-то понятно, но в этой поездке что я могу для тебя сделать?

- Еще больше, чем в Москве. Мне не хватает сведений. Ты их мне привезешь, тебе их передадут. Я думал, что мне пригодятся твои связи, теперь ты поработаешь у меня и связным.

- Если соглашусь, Ашир.

- Как это? Как это не согласишься? Ты - кто? - Ашир перегнулся к Знаменскому через стол. - Ты задумывался, кто ты?.. Знаю, задумывался. Все время об этом думаешь. Ты - о своей беде, я - о своей. Но... я же сейчас даю тебе возможность послужить Родине... Громкое слово сказал? Нет, такое самое, какое нужно! Тебе повезло, я считаю. Это опасно, учти. Могут убить, учти. Тебе очень повезло, я считаю!

- Да, увлекательно говоришь. - Улыбка все же и тут пришла к Знаменскому на помощь. Не до улыбок было, а он так широко улыбнулся, что и Ашир не удержал губы, оскалился.

- Ах, какой! - восхитился Ашир. - Ах, баловень, баловень судьбы! Учти, если проболтаешься, если струсишь, меня в одну минуту ликвидируют. А мне нельзя исчезать из жизни. Мне - нельзя! Понял?!

- Что же это все-таки за страсти-мордасти? Торгаши? Всерьез? Взятки? Если это не убийство

из-за ревности, то из-за чего же?

- Наркотики, друг, наркотики, - сказал Ашир, осторожно оглядываясь и шепотом.

- Какие еще наркотики? Ты что, в Колумбии, в Сингапуре, в Гонконге?

- Не кричи ты! Тише удивляйся... Я - у нас, я - здесь...

- У нас - наркотики? Торговля наркотиками? Может, скажешь, мафия?

- Может быть... Может быть... Это и выясню.

- Ашир, да меня погонят с такими мыслями! Скажут, свихнулся я у вас от жары. Скажут, связался с сумасшедшим!

- Не кричи, прошу тебя! Да, да, мы привыкли думать, что у нас ничего подобного даже и быть не может. Привыкли так думать... А привыкать ни к чему нельзя. Опасно! Ведь нас атакуют. Гляди, сколько всего понаползло к нам. И ползет, все ползет, наползает. А мы приучили себя думать, что мы всегда вне опасности. Война? Ядерная? Да, про это мы беспокоимся. Но разве эти вещи, вещи, вещи, которые, как вражеские солдаты, заскакивают в наши дома, разве это не военные действия против нас? Ты не спорь, ты послушай. Мы и тебя почти проиграли, такого вот, как ты есть. А ты разве у нас один такой? В рулетку потянуло поиграть?! Война это! Сражение! И почти нами проигранное, раз тебя погнали из партии. Почти!

- Да не ори ты!

- Да, да, я забылся. Прости. А эти вопли на танцульках, эти извивающиеся тела, зашедшиеся девчонки? И ты думаешь, среди них нет уже тех, кто и с наркотиками познакомился? Есть, есть. Курят всякую самодельщину. Колются. Да, да! Ходят по рукам и порошочки. Мода! Видишь ли, мода! Как у них там, как на Западе! Им можно, а нам нельзя?.. Это проигранные нами сражения, Ростик. Это - война! Не могут развязать ядерную, страшатся, придумывают вот такую вот, ползут, наползают. Мода! И мода может обернуться войной.

- Ты считаешь, что сюда к вам ввозят наркотики? Откуда? Это не так-то просто. Уж я-то знаю. Был момент, проскакивали через нашу страну транзитом, но теперь... Уж тут-то я получше тебя осведомлен. Все каналы пресечены. Досматриваем железно.

- Говори, говори, хорошо говоришь, приятно слушать. Но зачем ввозить? Разве здесь, на нашей земле, никогда не рос мак? Мак! Тише, тише... - Ашир прихлопнул ладонью рот, будто произнес невесть какое страшное слово. И уж совсем перешел на шепот: - И разве морфин, алкалоид опийного мака так уж трудно изготовить? В любой прилично оборудованной аптеке это могут сделать. Разумеется, тайно, в неурочное время. И разве героин, самый страшный из наркотиков, не является синтетическим препаратом, производным морфина? Но он более токсичен, вызывает необратимую наркоманию. Понимаешь, необратимую! И достаточно для какой-нибудь дуры, для какого-нибудь болвана пяти-шести порошочков, десятка самодельных сигарет, чтобы они стали не-об-ра-ти-мы-ми! Понимаешь?! Война! Проигранное сражение!

- Ты не сгущаешь краски, Ашир?

- Вот! Наше любимое выражение! Сгущаешь краски!.. Ах, как мы любим покой! Но война, если уж не ядерная, она в башках у наших врагов, она им нужна, необходима. И они будут искать, выискивать любые лазейки для нее. Мы еще понаглядимся! - Ашир умолк, понурился, он все сказал. Нет, еще не все. Он поднял голову, выпрямился, чтобы еще что-то важное сказать, решающее разговор: - Между прочим, тот ревнивец и убийца был в своем городе директором аптеки. Он, видишь ли, в свое время окончил фармакологический институт. Как окончил?

Трудно сказать. Купил, возможно, диплом. Но... у него была аптека, он заведовал аптекой. Между прочим, жена могла знать о его делах. И вот она-то, приревновав, а он давал поводы, могла пригрозить ему разоблачением. И... А мак? У нас есть такие уголки в просторах наших, где клочок макового поля вполне может затеряться. У нас ли, у соседей наших, в какой-нибудь Каракалпакии, еще где-нибудь. Мы обширная страна. И этот мак у нас может давать три урожая, тем более что для опийного молочка нужен как раз недозревший мак. И даже с воздуха не всегда углядишь, то ли весной, то ли летом, то ли осенью этот маковый лоскуток. Все же я потребовал вертолетный досмотр. Я - поспешил... - Он замолчал, поник. Вот теперь он все сказал.

16

Как говорится, нельзя пошутить, чтобы шутка не обернулась чем-то серьезным. Застольный треп, шутивная затея, а вот уже и выправлена Знаменскому командировка, ему вменено сопровождать ответственного работника Комитета по туризму, ему и билет на самолет вручен. Ключнул на загадочный напиток чал бывший Посланник Самохин. И так увлекся, развил такое ускорение, что уже на следующий день очутился Знаменский в аэропорту, чтобы лететь в Краснодарск вместе с Самохиным.

Их отвез туда Алексей, провожал очень обрадованный этой командировкой для друга Захар Чижов. Трое суток прошло - и вот уже нашлась для Ростика работа. Удача!

Летели дневным рейсом, на ТУ-154, летевшим до Москвы, но с посадкой в Краснодарске.

Очередь, вытянувшаяся на посадку, напоминала базарный ряд, где торгуют дынями, арбузами и виноградом всех цветов и оттенков. Очередь благоухала, а люди в ней уже успели притомиться и даже не от зноя, а от тяжести своей благоухающей продукции, которую они приволокли в аэропорт в мешках, ящиках, сумках, частью сдав все это в багаж, а частью перетаскивая в руках. Базарная толпа. Даже осы тут появились, всегдашние на базарах в виноградном ряду. От них отмахивались, изнемогая от зноя. А за решеткой ограды медленные протягивались тела лайнеров, этих чудотворящих созданий. Ведь чуть больше трех часов пройдет - и базар здешний, прихватив даже и ос, перекочет в Москву. Или не чудо?

В изнеможенной толпе хорошо чувствовал себя один только Александр Григорьевич Самохин. Во-первых, жара была целебна для него, он в это верил. Во-вторых, он совершил поступок, а это всегда ободряет мужчину. И наконец, он действительно поверил в загадочный этот чал. А вдруг?! Самохин был оживлен, говорлив, приосанился, молодо поводил своими выжелтившимися глазами, провожая проходивших женщин. Он беседовал с Захаром Чижовым, с ровней себе, предоставив Знаменскому общество водителя Алексея. Дистанция сразу же была установлена. А иначе нельзя. Самохин и билет себе велел выправить в салоне возле кабины летчиков, хотя в этом рейсе и не было первого класса, традиционно полагающегося для дипломатов высоких рангов. А все-таки салон-то первый. И иначе нельзя. Послабил в одном, в другом - и вот уж ты сдвинут, отодвинут. Возможно, об этом и беседовал сейчас Самохин с Захаром Чижовым, втолковывая ему законы устойчивости, остойчивости в житейском море, заодно обсуждая и стати проходящих женщин, подтверждая своим женолюбием свою жизнеспособность. Захар томился, это и издали было видно. Но он был на службе сейчас, он провожал важного гостя, ему надлежало выслушивать и терпеть.

Не терял времени и Алексей. Он таинственно отвел Знаменского в сторонку, спросил, понизив голос:

- Ростислав Юрьевич, а вы, по границам ездя, бывали на высокопоставленных приемах? Какие там банкеты?

- В чем дело? Зачем тебе эти банкеты, Алексей?

- Не мне, одному влиятельному человеку нужна консультация.

- Какая же? - Знаменский вполслуха слушал Алексея, высматривая, не покажется ли в толпе Ашир. Он же о каком-то поручении ему вчера толковал, он и затеял эту поездку, подбил старика. Но Ашира не было, а вот-вот начнут впускать в узкий предбанник, где пассажиров станут просвечивать и промагничивать. Это был внутренний рейс, досмотр будет поверхностным, не столь тщательным, как, скажем, на аэродромах Лондона или Парижа, где еще и повелось пассажиров обнюхивать, именно так, собаки стали обнюхивать, особенно если ты не улетаешь, а прилетаешь. Собаки эти были натасканы на наркотики. Так неужели же и у нас?..

- Нет, не верю! - вслух вырвалось у Знаменского.

- Вы о чем? - удивился Алексей. - Я правду говорю, влиятельный человек. И он велел узнать у вас, как правильно рассаживать народ за банкетным столом. Ну, кто в голове, кто по правую, кто по левую. Какой, так сказать, порядок-распорядок.

- Зачем ему это? Он кто, твой человек? - Знаменский вытянул шею. Кажется, или померещилось, через площадь перед зданием аэропорта, где сейчас плавился асфальт, промелькнула сутуловатая длинноногая тень.

- О, большой в городе человек! - уважительно построжал лицом Алексей. Зубной техник. Всем у нас, кто при деньгах, зубы в золото обрядил. Юбилей у него. Хочет, чтобы всё, как в лучших домах.

- Зубной техник - это все же не посол, не находишь? - Нет, не появлялся Ашир. А уж отворились двери, уже первые торопыги протиснулись на досмотр. Да ты спроси Самохина, он же настоящий Посланник.

- Устаревший! - отмахнулся Алексей. - Вы - моднее.

- Ладно, вернусь, расскажу. Мне - пора на посадку.

- Пока хотя бы в общих чертах, - не отставал Алексей, идя следом за Знаменским. - Смотрите, он мне одну коронку уже поставил... - Алексей широко открыл рот, пальцем приподнимая губу, показывая новенькую золотую коронку в ряду его отличных, хищномолодых зубов. - А мне еще две нужно. Погонит, если не узнаю.

- Так у тебя же замечательные зубы, дуралей, - сказал Знаменский, еще раз, в последний раз высматривая в толпе Ашира.

- Мода! Мода! Ну что вам стоит намекнуть, Ростислав Юрьевич, где кто сидит. Ведь я у него в руках, зубы-то подпилены.

- Ну, Алексей... Значит, так, посол-дантист, он же хозяин дома, сидит не в голове стола, а посредине. Понял, посредине! Послиха, дантистиха, стало быть, сидит насупротив него. Стол должен быть прямоугольный. Запомнил? Знаменский уже подходил к дверям, за которыми начинался досмотр. И снова глянул: нет, не было нигде Ашира. - Ну, а гости... - Знаменский вступил в проем дверей. - Вернусь, доскажу. А вообще-то, рассаживайтесь по степени нахальства. Ближе к хозяину и по правую понахальнее. Понял? До встречи, Алексей! Жаль мне твои зубы!

- Что передать дамам, Ростислав Юрьевич?

- Дамам?! А! Передай, чтобы ни в коем случае не поддавались моде!

Знаменский махнул, прощаясь, рукой Захару, - их разъединила толпа, - и вступил под подкову досмотра, в триумфальную эту арку конца нашего столетия, отмеченного терроризмом, угоном самолетов и вот еще и провозом наркотиков. Но это не у нас, это там, у них. Сгущает краски Ашир! Говорил, пугал, просил помочь, а сам даже не явился.

В самолете Знаменский сел рядом с таким принаряженным мужчиной, какие только в Латинской Америке могли бы повстречаться. Зной, в самолете просто парильня, а сосед и в пиджаке и даже в жилете, и конечно же платочек торчит из кармашка, и галстук не устрасился нацепить. Латиноамериканец, и все тут. Но личико российское, лукавое, и хоть и молодое, но уже изморщиненное страстями. Знаменский вспомнил себя вчерашнего, каким явился в МИД. И устыдился. Таким же почти и явился. Разве что без жилета и без галстука. Но сегодня он уже иным был. Он в путь отправился в старых джинсах, в свободной рубашке, в башмаках, в которых было хожено-перехожено.

Знаменский рассматривал, но и его рассматривали.

- Рубашечка, гляжу, фирменная, - сказал латиноамериканец. - Джинсы, гляжу, доведены до кондиции. Ох, эта наша простота из валютного магазина! Послушайте, где я вас мог встречать? Кстати, познакомимся, лететь-то три с лишним. Петр Сушков. Кинодраматург. Здесь, в этой печке природной, у меня фильм выпекается. Знаете, совсем неплохая тут студия. С традициями. Иванов-Барков... Алты-Карлиев... Мансуров... Теперь вот братья Нарлиевы... Но где же все-таки, где я мог вас встречать? В доме кино? Нет, не то видение! Иным зрением я вас помню. А? Будем знакомы! - Этот общительнейший кинодраматург протягивал Знаменскому руку, улыбаясь всеми своими жизневедущими морщинками. Что ж, и Знаменский откликнулся улыбкой, врубил свое обаяние.

- Ростислав Юрьевич Калиновский, - назвал он себя, взяв для этого случая девичью фамилию матери. Он так и раньше при случайных знакомствах поступал, чтобы избежать удручающих этих разговоров о его профессии, когда случайный знакомец узнавал, что повстречался с журналистом-международником Ростиславом Знаменским, лицо которого - ах, вот вы кто?! - он видел по телеку, - ну, как же, как же.

- Калиновский?.. Калиновский?.. - задумался кинодраматург Петр Сушков и вдруг хохотнул. - Чуть было не спросил вас, а не родственник ли вы того Кастуся Калиновского, про которого был очень знаменитый некогда фильм смастерен. Так и назывался: "Кастусь Калиновский". Но незапамятных времен лента. Только природный киношник, только вгиковец, а мы во ВГИКе изучали историю кино, может вспомнить этот боевик.

- Кстати, а возможно, и родственник, - сказал Знаменский.

Мог бы не говорить этого, но бес попутал, он все же был тем, кем был, продолжал оставаться самим собой, ну как было не ухватиться за такую великолепную возможность чуть-чуть вот, пусть и перед мимолетным знакомцем, совсем чуть-чуть не побахвалиться. Впрочем, это даже не бахвальством было, это истиной было. Его мать была из знатного польского рода Калиновских. Конечно, былшем все это поросло, шляхетство это, но мама гордилась. И дома у них, в их небольшой квартирке в старом доме московском, в двух тесных комнатках, изо всех углов, со всех стен глядели на маленького Ростика, на подрастающего Ростика и на совсем взрослого Ростика его усатые, горделивые прапрадедушки и томные, с осиными талиями прапрабабушки. Шляхта! Может, и не родня вовсе. Как узнать, где добыт портрет, с кого писан. Но мать утверждала, что Ростик похож вот на этого лыцаря и совершенно такие же у него глаза, как вот у этой юной паненки из семнадцатого прославленного века.

- Да, ну?! - изумился Сушков. - Разве Кастусь Калиновский не вымышленный герой?!

- Конечно, нет. Это древний польский род. Были в нем и гетманы, воеводы, были и повстанцы. Как же вы там историю изучали кино, если не знаете, кто у вас вымышленный, а кто доподлинный?

- А какая разница? Мы изучали не историю персонажей, а как фильм сделан. Помнится, в ленте про вашего родственника нас особенно занимал параллельный монтаж при погонях. Это еще от Гриффита пошло, от этого американского реформатора кино. Слыхали про такого? Десятые, двадцатые годы нашего века. Заря кинематографа.

- Тот, что открыл Дороти и Лилиан Гиш? После него был Мак Сеннет, кажется. Это тогда началась слава Голливуда, возникли студии "Юниверсэл" и "Метро-Голдвин-Мейер"?

- Господи, да вы же культурнейший человек! - возликовал Петр Сушков. Кто кроме киношников, да и из нас-то немногие, может знать такое! Вы - кто? Изнываю от любопытства!

- Никто.

- О, инкогнито?! Не хотите, чтобы узнали? И так простенько совсем оделись. Но, увы, и из простого прет. Рубашечка, повторяю, фирменная, джинсы - тоже. Впрочем, не это тряпье вас выдало, оно доступно нынче каждому. Нет, не это вас выдало, дорогой товарищ правнук Кастуся.

- Что же меня выдало?

- Вообще-то, многое. Но прежде всего эти вот часики золотые на вашей руке. Заветные часики с фирменной подковкой на циферблате. "Омега"! И золотая "Омега". Это же номерной экземпляр. Такие, из золота, такие пронзительно плоские, убийственно скромные, внемодные и обморочно дорогие носят на запястьях исключительно миллионеры. Или не так? И вдруг в самолете, следующем из Ашхабада, на руке соседа я вижу такую вот любопытнейшую деталь. Вы, конечно, бывали за границей?

- Бывал.

- А на Капри?

- Был и на Капри.

- Эх, инкогнито! Да кто же из наших, из советских, бывал на этом островке миллионеров?! Единицы! Но взысканные, взысканные единицы.

- Вот вы были.

- Понял вас, сэр. Я не выгляжу слишком уж взысканным. Понял! Да, я был. Но я - киношник. А киношники причудливой судьбы люди. Куда нас только не заносит! Да, был. Собирались снимать фильм о Горьком. Ну, на три дня командировали предполагаемого режиссера и предполагаемого автора сценария. Валюта - в обрез, срок - ничтожный. Мы даже не сумели найти на Капри за эти три дня, а где же там жил Максим Горький. Показали один дом, но внутрь не пустили, на воротах было начертано: "Кани мордачи!" - "Злые собаки". Мы и не сунулись. Показали еще какую-то гостиницу. Жил ли, нет ли, а нам уже уезжать пора. Но все-таки Капри я поглядел. Так вот, на этом курортном островке миллионеров, когда слонялся по улицам, глядя на богатейшие витрины, прикидывая, что могу купить на свои лиры, и убеждаясь, что ровным счетом ничего, ну, ни единой даже безделушечки, обратил я внимание на гулявших там старух. Знаете, этих американок с седыми кудельками и высохшими икрами? Железные старухи! Они бегали по острову как молоденькие. Глазками постреливали на мужчин, честное слово. Но не в этом суть того, что я тогда подметил. А

подметил я, что старушки эти были наипростейшим образом одеты, в жалких легоньких платьицах бегали, в чуть ли не в шлепанцах и на босу ногу. Им было так удобней, старому телу вольготней, ведь на Капри была жара. Что удобно, то и надели. Но... - Сушков воздел указательный палец. - Внимание! Внимание! Но... на каждой из этих старушенций, одетых как нищенки, в ушах ли, на запястьях ли, на подагрических ли их пальцах, висели, надеты или вздеты были целые состояния. Мол, знай наших! Платьишко пятидолларовое - для тела, а браслетик тысяч на сорок долларов - для престижа. Чтобы не спутали, и верно, с какой-нибудь беднячкой. Вот что я тогда подметил. То же самое и с вами... Совсем простенько одет человек, но - "Омега". И золотая, заметьте. А вы говорите - никто!

- Никто, никто, именно так, - покивал, разжигая свою улыбку, Знаменский. - А часы, что ж, подарок жены.

- И где же это раздобываются такие жены? Вы - москвич?

- Да.

- Она будет вас встречать? На "мерседесе" домой покатите, угадал?

- Не угадали, Петр. Я схожу в Краснодарске.

- Вон как! Да там же сейчас сто градусов в тени! Причем, замечу, тени нет.

- И все-таки схожу именно там.

- Так, так... Значит, вы еще загадочней, чем я думал. Но все-таки Калиновский?

- Все-таки Калиновский.

- Княжеский род, что ни говори?

- Что ни говори. Мама утверждает, что Калиновские были знатнейшими шляхтичами в одном ряду с Вишневецкими и Потоцкими.

- Да... Но "Омега" не из шестнадцатого века, как я полагаю?

- Тогда вроде этой фирмы еще не было.

- В том-то и дело! Так вы в командировке здесь? И вас погнали в такую наижарчайшую пору? Экстренный случай? Угадал, вы - ревизор?! Ловите жуликов?! Сейчас это модно. Ловят и ловят! Что, в Краснодарске какой-то торгаш крупно попался? Вы уж простите меня, что я допытываюсь... Профессия! Сюжетика! Судьбишки! Вот ваша "Омега" - это уже сюжетик. Нет, не ревизор? Да, не похожи, это я так, не подумавши ляпнул. Режиссер? Актер? Тогда бы я вас знал. Все дело в том, дорогой Ростик, ох, простите, что я так, по-приятельски, все дело в том, что если я кого-то хоть раз углядел своими глазками, то это уже навсегда, как фотография. А я вас где-то да углядел. И вот томлюсь, хочу вспомнить. И к тому же "Омега"... Не признаетесь? Не раскроете инкогнито?

Но тут Знаменского выручил радио-женский голос, уведомляющий пассажиров, следующих до Краснодарска, что самолет идет на посадку и необходимо пристегнуть ремни.

- Пойду к своему шефу, - сказал, поднимаясь, Знаменский. - Он в первом салоне.

- Сбегаете? Допек я вас? - Сушков поднялся, протянул руку, морщинками бывальыми применшив и без того маленькое и прелюбознательнейшее свое личико. - Простите, молю, но - профессия! А мы еще встретимся! Пароль донер! Нес па?

- Мэй би, мэй би... - подхватив сумку, Знаменский быстро пошел по проходу. Ну и духота в этом самолете! Взмок весь. И уши заложило. Самолет круто шел на посадку. В окошечках замелькала синева, изумительная синева. Это было Каспийское море. Не поверилось, что там, внизу, тоже злобствует зной. Синева эта его утешила, ободрила.

17

Позади прибрежная скалистая гряда, - в скалы, теснимый морем, и врезался этот город, - позади немислимое хитросплетение труб громадного нефтеперегонного завода, позади эта чужедальщина для глаз, будто ты где-то вблизи Эр-Риада или Эль-Файюма, и вот уже сидят они в гостиничном ресторане, где никакой чужедальщиной и не пахнет, разве что запах остывшего бараньего жира укоренился тут, а запах этот не из самых приятных. Но на столе перед ними большой графин с мутновато-белым напитком. Это - чал.

- Вот мы и в государстве Чал! - наливая в пиалушку этот мутноватый, жидко изливающийся напиток, провозгласил Самохин. Он осторожно приблизил к губам пиалушку, испил, страшась, коротко сглотив, и замер, ожидая мгновенной смерти или мгновенного исцеления. Но не случилось ни того, ни другого.

- Пейте, пейте, я раздобыл для вас изумительный чал, наисвежайший, от самой красивой верблюдицы! Мне позвонили из Ашхабада и дали указание. Во-первых, показать вам все перспективные курортные места, во-вторых, обеспечить любым транспортом, включая вертолетный, в-третьих, наладить снабжение чалом. Я решил, что "в-третьих" важнее, чем "во-первых" и "во-вторых", ибо через желудок проходят все караванные тропы. Пейте, пейте, наш уважаемый Александр Григорьевич! Смелей, это не девушка! Чал не обманывает!

Кудрявый, весело кругоголовый человек, не шибко молодой, но молодоглазый и улыбчивый, все эти слова произносил с напором, раскатывая в них "р" и сглатывая "л", отчего слова как бы выпархивали из его сочных, смугловато-красных жизнелюбивых губ. Он их встретил в аэропорту, этот человек, торжественно представившийся заведующим всей культурой города порта Красноводск. Он их и сопровождал в лучшую гостиницу города, - а была ли тут другая? - разместил в лучших номерах, в люксах, разумеется, явно проявив душевную тонкость, ибо и шефу и его помощнику он добыл одинаковые номера. Но тут сыграла роль мгновенная симпатия, которую взаимно ощутили друг к другу и он, и Знаменский, совпали их улыбки и отворились их души. Самохин же был сановен, мало доступен, изнутри надут. Роль играл. Нравилось ему быть начальником. Но чал смягчил его. Все-таки врачеваться же сюда прибыл, а врачуюсь, мягчают.

- Почему, дорогой Меред, вы особенно подчеркнули, что чал от красивой верблюдицы? - спросил Самохин, еще разок коротко сглотив. - Разве это имеет значение? - Он поставил пиалу, начал вслушиваться в себя, замерев, полужакрыв глаза.

- Громадное! Наигромаднейшее, уважаемый Александр Григорьевич! - Меред не позволил себе улыбнуться, только на Знаменского скосил лукавые глаза, приятельски чуть-чуть ему подмигнув. - Красивое только и лечит! Возьмем, к примеру, ту же девушку... Какая разница, в конце концов, какое у нее лицо? Если вдуматься! Но мы тянемся к красоте, ибо это главный закон гармонии. А гармония, не мне вам объяснять, уважаемые москвичи, главный закон жизни. Я правильно говорю?

- Вы где учились, Меред? - смеясь, спросил Знаменский. - Не на философском ли факультете?

- Выше, выше поднимайте, дорогой Ростислав.
 - Может, в академии общественных наук? - спросил Самохин. - У нас? В Москве?
 - Выше, выше поднимайте, уважаемый Александр Григорьевич!
 - В инспектуре ЦК? - спросил Самохин, повнимательнее глянув на Мереду.
 - Это, конечно, совсем высоко! - Меред почтительно свел ладони. - Но я еще выше учился.
 - Ну, брат! - радуясь этому веселому малому, наиграл изумление Знаменский. - Разве есть что выше?
 - Есть, дорогой! - Меред выждал, округлил глаза, таинственно понизил голос. - Я у жены учился. И учусь. А она у меня секретарь обкома. - Он развел руки, уронил голову. - Вы знаете, что это за наука - каждый день, каждый день, каждый день? И ночью тоже! Нет, это вам не академия общественных наук! Что академия?! А вообще-то я окончил семилетку и курсы киномехаников.
 - Так, так, очень забавно излагаете, - сказал Самохин и позволил себе улыбнуться, тем более что чал, который он потягивал, кажется, начинал завоевывать его доверие. - А теперь определим нашу программу. Я бы хотел прежде всего встретиться с руководством.
 - Прежде всего мы встретимся с шурпой, - сказал Меред и молитвенно повел носом. - Слышите благоухание? Несут! Шурпа - это суп, где встретились барашек и козленок. Какой там суп! Это - блаженство! На три пальца огненного жира! Под шурпу можно выпить бутылку водки и никто не заметит, что ты пьян!
 - Три пальца жира?! - ужаснулся Самохин.
 - А для начала икорка паюсная, рыбка горячего и холодного копчения... Все наше, все дарит нам Седой Каспий! Прошу!
- Две официантки с двух подносов сгружали на стол пленительнейшую еду, эти дары Седого Каспия, разом смешавшие свои царственные запахи. Официантки действовали быстро, споро, отмелькали их полные руки, и женщины удалились, отмелькав внушительными бедрами, а на столе, на скучной только что скатерти возникла скатерть-самобранка с яствами.
- Прошу! Скромный завтрак... - Меред даже голову свою круглую и кудрявую вобрал в плечи, таким скромным считал он свое угощение. - На скорую, как в России говорят, руку... Вам что налить, Александр Григорьевич, "кубанскую", "столичную"?
 - Но я страшусь жира! Какая там водка?! - Бедный Самохин утратил всю свою сановность. - Мне бы творожку немного...
- "Смертельно больной старик..." - вспомнились Знаменскому слова Ашира. И вспомнилась расплавленная площадь перед аэровокзалом, на которой померещился Ашир Атаев. Померещился, не явился. А они вот здесь, слуги его затеи. И чал на столе. Но еще и эта еда замечательная, которая старику страшнее яда.
- Чал все снимет, - сказал Меред. - А страшиться надо только змеиного укуса и предательства друга.
 - Из лекций жены? - спросил Знаменский.
 - Н-е-е-т! Это народное. Жена меня учит марксизму-ленинизму.

- Да?! - оживился Самохин. - А! Икорки я все же отведаю! Но копченостей - ни за что! И не упрашивайте! Это главные мои враги!

- Главные наши враги - сомнение в своих силах и робость при исполнении желаний! - провозгласил Меред. - Так выпьем же, друзья, чтобы эти враги никогда не мешали нам в ответственный момент!

- Шутник вы, шутник, я гляжу! - Самохин судорожно тер ладони над столом, не решаясь и уже почти решаясь протянуть руку к чему-либо из этих яств. - А! Рюмочку я все же выпью! Крохотульную!

- Чал все снимет, - сказал Меред.

- Да, обучен ты совсем не худо, - сказал Знаменский. - И все жена?

- Зачем про жену спрашиваешь? Нельзя спрашивать про жену! Нет, это еще до нее. Киномеханик - тоже наука. Везде свой человек. Даже грабитель в пути не остановит. Он знает, что человек везет фильм к чабанам. Я прошел большую школу, друзья. Потому я такой веселый, что я такой ученый. А жена, что жена? Я - несчастный человек. Я не могу вас пригласить к себе домой. В туркменском доме хозяин муж. А как я, скажите, могу быть хозяином в своем доме? Нет, конечно, не совсем несчастный человек, но все-таки я немножко неудачно женился. Меня оправдывает только то, что тогда она была всего лишь инструктор райкома комсомола. Выпьем, дорогие москвичи! Мои заботы - не ваши заботы!

- Александр Григорьевич, вам не стоит, пожалуй, - сказал Знаменский, глядя, как мучается старик.

- Да, да! Вы правы, правы! - Самохин отдернул от рюмки руку. - А вы пейте! Пейте! Я хоть посмотрю! Мне легче делается, когда смотрю, как пьют. Будто сам пью! Эх, рыбки золотые, подружки мои заклятые!.. Отгулял, отгулял...

- Слово даю, я не враг вам, чал все снимет, - сказал Меред. - Но лучше не пейте, если не верите. Без веры ни в чем нет радости. А мы давайте выпьем, Ростислав Юрьевич! Какие у вас часы замечательные! "Омега"! Не люблю дорогие вещи. Жена говорит, что дорогая вещь хуже аркана.

- Это из уроков марксизма-ленинизма? - усмехнулся Самохин.

- Именно! У меня замечательная жена! Но я несчастный человек... Поехали!

Они вдвоем выпили, разом опрокинув рюмки, а Самохин схватил свою пиалушку с чалом и стал пить, судорожно глотая. Бедный, бедный старик... Он вдруг вскочил, бодро объявив:

- Идея! Пойду, вздремну часок. Хоть и недолог был полет, но перепад давлений ощутим. К морю спустились, как с горы. Всего часок, и я буду, как огурчик. - Счастливый, что может улететь от этого стола, где все будто помечено было для него скрещенными костями и черепом, Самохин даже помолодел, уверенными стали его движения. - А графинчик с чалом прихвачу. И малюсенький кусочек икорки. Что еще? - Глаза его всматривались и меркли, всматривались и меркли, всюду натываясь на скрещенные кости и череп. - Все! Долой соблазны! - Он подхватил графин, пиалушку, отмахнулся в последний миг от тарелки с икрой и бодро, прямо держась, важно ступая, отбыл.

- Долой соблазны... - Меред долгим взглядом проводил старика. - А если их долой, так зачем тогда жить? - Меред перевел свои навыворот глаза, веселые, смеющиеся, на Знаменского. - Зачем, спрашиваю? Ешьте шурпу, дорогой. Ее надо горячей есть. Все надо горячим есть, что снято с огня, и все надо горячим ощущать, что сжал в ладонях... За соблазны! Чтобы не

убегать от них! Никогда! До последнего вдоха!

- Где я? В Грузии? - Знаменскому было легко с этим человеком, у которого уже и седина пробилась в крутых завитках его смоляной шевелюры, которому и жилось, наверное, не просто, томил его этот перепад высот в семейной жизни, но веселость жила в нем не наигранная, приветливость была в нем от души.

- Ты в Туркменистане, дорогой! Про Грузию почти уже все известно, землю роют, чтобы еще что-нибудь узнать. Про нас еще почти ничего не знают. Мы загадочный народ. Ты в ссылке у нас? Ну, ну, я знаю. Нами получены все сведения - и о Посланнике этом больном и о тебе. Иначе нельзя, вы будете у самой границы. Так вот, ты пока в ссылке у нас. Много русских, еще до революции, так попадали к нам. И многие, очень многие не умели нас понять. Они считали дни, чтобы уехать. Они жили у нас с полужакрытыми глазами. Что можно разглядеть такими глазами? Зной! Песок! Скорпионов и змей! Но те, кто приехал жить, а не отбывать срок наказания, те начинали любить эту суровую землю, нас, туркмен, начинали любить. И понимать! Мы заслуживаем открытого сердца. Ты как к нам приехал, отбывать или жить?

- Вот и ты, Меред, взял меня за руку и повел, - потускнев, сказал Знаменский. - Все меня учат, все меня учат... Что ж, заслужил. Поделом. А я думал, ты веселый человек, Меред, без учительских этих ноток. Сказалось все-таки влияние жены? Ее наука? Выпьем-ка лучше, раз перешли на "ты". Вот за это и выпьем.

- Обидел тебя? Не хотел. Разве я учил? О, не хотел! Прости великодушно. - Меред, моля о прощении, провел ладонями по лицу и свел их под подбородком. Замер так, нешуточно моля глазами, гася в них веселье, что не легко ему было сделать, ибо веселье, веселость, готовность к смеху укорененно жили в них.

- Прощаю, прощаю. Перетерпеть надо. Полоса!

- А, не простил! Понимаю, тебе трудно. Очень трудно. Думаешь, я не могу понять?

- Не знаю. Ну, понял. Жить-то мне дальше. Я вот про тебя понял, что трудно тебе, хоть ты и шутя жаловался. Но жить-то дальше тебе.

Они глянули друг на друга через влагу глаз, разом вдруг рассмеялись.

- А, тебе тоже нельзя позавидовать! - сказал Меред и покрутил над головой рукой, замысловатое что-то начертав в воздухе. - Жена - дочь министра, скажу, это тоже не подарок!

- Все знаешь про меня.

- Все! А как же? На самую границу повезем. Слушай, а я тоже азартный, в очко однажды двести рублей проиграл. Хотел тельпек еще проиграть, но друг не дал, оттащил в сторону, кушаком связал руки. Он был сильнее меня. У тебя там рядом не было сильного друга? В Каире?

- Все знаешь про меня.

- Почти. Один процент. Девяносто девять процентов не знаю. Никто ни про кого больше одного процента не знает. Согласен? Сами мы про себя знаем, ну на два, ну на три процента. Как поступим через минуту, не знаем. Кого полюбим, кого возненавидим, не знаем. Вот вздрогнет сейчас под нами земля, что станем делать? Не знаем! Может, я тебя спасу, а может, ты меня, когда станут падать стены. Народ - загадка, но и человек - загадка. Согласен?

- Ты такой мудрый, что с тобой даже спорить нет смысла. Один процент, говоришь?

- Ну два, ну, уступаю, три.

- А суры, а суны ваши - там же все расписано.

- О чем ты?! Потому и расписано, что аллах нам не доверяет. Вот он не велел нам пить, а мы пьем. Что аллах? Жена мне запрещает пить, а я пью. Она мне партийный выговор обещает. Я ее собираюсь поцеловать, а она от меня отстраняется - опять, говорит, от тебя этим отвратительным араком несет, смотри, говорит, получишь ты у меня выговор с занесением в учетную карточку. И где, где это говорится, друг?! Я несчастнейший человек!

- Не страшись, чал все снимет.

- А запах? Его не скроешь, выключив торшер... Скажи, тебе понравился Ашир? Сильный человек, да?

- Какой Ашир? - Вся наука, все навыки, вся осторожность, весь этот набор предупредительных в себе сигналов - все сейчас вспомнилось и зазвенело в Знаменском, упреждая, остерегая, призывая к осмотрительности, осторожности, лукавству, умолчанию, - чего там еще? - словом, всему тому, без чего твоя работа за границей, даже если ты вовсе не дипломат, а журналист, не стоит и гроша. Но разве тут была граница? Разве этот славный малый, весело сейчас его рассматривающий, иностранец? Нет, не граница, но пограничная зона, заступив которую, можно погубить Ашира Атаева, одним неосторожным словом можно погубить, поскольку этот Ашир Атаев начал, похоже, нешуточный бой с нешуточным противником. - Какой Ашир, дорогой? - И Знаменский с таким недоумением ответно уставился на Мереду, что сам себя про себя похвалил.

- Хорошо ответил! - похвалил его и Меред. - Хорошо глядишь! Притворяешься хорошо. Ну ладно, когда будем уезжать, передам тебе на вокзале письмо для Ашира. Он звонил мне. Из Кара-Калы вы поедете поездом, вот там, на вокзале, и дам тебе письмо.

- Не пойму, о чем ты толкуешь, дорогой Меред? - сказал Знаменский. Мне никто никаких поручений не давал, никаких писем брать мне не поручено. Ты не спутал чего-нибудь?

- Правильно, правильно отвечаешь! - Меред просто любовался Знаменским. - Письмо я тебе все-таки передам, а ты уж сам решай, куда его деть. Не доверяешь мне? Молодец! Хотя обидно, конечно. Неужели я похож на провокатора?

- Ты похож на очень славного парня, Меред. Но...

- Правильно, правильно отвечаешь. Немного приподниму завесу... Совсем немножко... Чтобы ты хоть чуть-чуть поверил мне... Доверие нужно даже не нам с тобой, а этой шурпе. Ее нельзя хлебать за одним столом, не доверяя друг другу. В старину враги не садились за один стол, а если садились, не притрагивались к еде, боялись отравы. Недоверие - это отравка.

- Я верю тебе, Меред, но... Действительно, хорош супчик, - Знаменский, обжигаясь, начал есть. - Ну и горяч!

- Чурек бери. Шурпа медленно остывает, жир мешает. Ее надо с хлебом есть, и не спеши глотать. Так вот, наш Ашир собирает сведения, где у нас по Туркмении высаживается мак. Он, понимаешь, карту маковых посевов решил нарисовать. Совсем агрономом стал, когда из прокуратуры прогнали. Ну, а я кое в чем ему тут помогаю. У меня много друзей, во всех наших городах и селениях можно найти моих друзей. Один видел где-то маковое поле, другой видел где-то. Кто в предгорьях, кто в горах, кто где. Возле канала клочок поля, возле кяриза клочок поля - там, тут, тут, там. Карта зачем нужна? Один клочок - пустык. Пять, десять клочков - пустык. У нас веками высаживают мак. Пороки не нами сегодня выдуманы. У нас старики и про бел знают, бел - это гашиш. Высевают коноплю, черти, накуриваются до одури.

Старики! Месяцами только овцы вокруг! Одиночество, мѣканье одно вокруг. А покурил - и гурии к тебе сбегаются. "Что желаете, ага? - вопрошают. - Мы можем омыть ваши ноги, умастить ваши плечи, мы можем..." Есть еще нас... Нас! Скверная штука. Чего там не понамешано. Белая махорка и даже негашеная известь. Суют под язык. Пробирает до пота! Бьет по мозгам! Имеешь возможность попробовать, на каждом нашем базаре продают. Зелененький такой порошок. От зубной боли очень помогает. Наши аксакалы к зубному врачу ни за что не пойдут. На аркане не затащишь. Хуже шайтана для них зубодер. Как позволить, чтобы кто-то залезал тебе в рот, чтобы отнимал частицу тела твоего?! Никогда! Но зубы-то болят у старого человека. И тут помогает нас. Мы его не запрещаем. Да беззубому старику разве что запретишь? Он гораздо ближе к аллаху, чем к районному отделению милиции. Ну, как моя лекция?

- Занятно. Нет, я эту известку пробовать не стану. Мне довольно и шурпы. Весь рот сжег.

- Не спеши, шурпа медленная еда. А есть еще у нас тирьек. Вот он-то и добывается из мака. Из молочка, которое вытекает, когда надрежешь маковую головку, когда еще не вызрел мак, не почернел. Да, тирьек... Опий, короче говоря. Опиум! Тоже не новость в наших краях. Из Китая, так думаю, к нам пришел этот сизый дымок. Много веков назад пришел. Тирьек... А тех, кто к нему пристрастился, а он прилипчив, только начни, он тебя не отпустит, ни на миг не отпустит, тех у нас тирьеккешами зовут. Еще встретишь таких. Где-нибудь на базаре, возле базара. Они там подпирают спинами дувалы. Щеки впали, глаза блуждают, руки-ноги не слушаются. Это не пьяницы. Нет, это не пьяницы. И им не до веселья. Это живые покойники. Но что-то они там в своем полузагробном мире находят для себя. Видения их посещают. Накурились или нажевались - вот и жизнь. Другая для них уже невозможна. А тирьек очень дорог. Он строго запрещен у нас. Его можно достать только из-под полы. И дорого надо платить. Вообще, дорого. Сперва все деньги отдай, какие есть, все вещи спусти, какие есть, а потом и жизнь заплатить придется. Вот, дорогой, если коротко, что такое лоскуток земли с зацветающим маком.

- Но если это у вас с незапамятных времен, так чего же вы горячку порете? - сказал Знаменский. - Зачем какие-то вам карты вдруг понадобились?

- С незапамятных времен, ты прав, дорогой. Но эти лоскуты под маком то исчезают, то появляются, то их совсем мало становится, то вдруг много. Приливы и отливы. В чем тут дело? Я объяснить не берусь, у меня семилетка и курсы киномехаников. И вот, понимаешь, вдруг этих маковых лоскутов у нас сильно прибавилось. Вдруг! Ашир говорит, что столько нам, для наших стариков, для наших несчастных тирьеккешов не нужно. Такого урожая не нужно! Даже если молодые у нас начнут себя губить. Столько не нужно! Ашир считает, что наш тирьек стали вывозить. К вам, в Россию! Спрос появился. Мода! Так считает Ашир. А он неглупый человек, поверь. И ему теперь важно узнать, кто заставляет столько сеять мака. Кто?! И кто вывозит?! Кто?! Вот для этого и нужна Аширу карта. Велеть подавать плов, дорогой? Без плова нет обеда.

- Так мы же всего лишь завтракаем.

- Разговор трудный вышел. После такого разговора нужен плов, чтобы подкрепиться. И больше мы к этому разговору не вернемся, дорогой. Сейчас спустится к нам твой старик, который станет после сна огурчиком, и мы начнем нашу программу. Вы зачем прилетели? Вы прилетели, чтобы осмотреть все перспективно-курортные места в нашей области. Это сегодня тут жарко и пыльно. Но ведь у нас есть море. И к нам тянут воду Амударьи. А знаешь ли, что она уже в ста километрах, нет, в шестидесяти от Красноводска? Мы увидим эти благословенные трубы, когда полетим в Кара-Кала. Я добыл для вас вертолет. Посланник будет доволен. Мы будем низко лететь, совсем низко, почти касаясь верблюжьих горбов. И мы увидим эти трубы, по которым вернется сюда вода Амударьи. Вернется! Я правду говорю, вернется! Когда-то, совсем недавно, ну, пять, ну, семь столетий назад, здесь была вода,

здесь были плодороднейшие поливные земли. Река ушла, ушла жизнь. Теперь она возвращается, наша Аму! Ты представляешь, в какое историческое время мы с тобой живем?! Плов! Вот несут плов! Милые, прекрасные руки ставят нам на стол блюдо плова! Спасибо, женщина! Спасибо, дорогая!

Мелькнули полные руки, проплыли, удаляясь, полные бедра, а на столе заблагоухал плов.

- Даже смотреть на женщин я не могу, дорогой, - сказал Меред, все же проводив глазами полные бедра. - Кто я? Муж секретаря обкома!

- А почему бы не подключить к этой карте твою жену? - спросил Знаменский. - Все-таки секретарь обкома.

- Разве я тебе сказал, что речь идет о нашей области? - насторожился Меред. - Я назвал тебе нашу область?

- Нет, не назвал.

- Мне пишут со всех концов, вот что я говорил. Там - тут, там - тут, про это я говорил. А где именно - я не говорил.

- Не говорил, не говорил, успокойся. Но все-таки, секретарь обкома.

- Ну и что? Она же не первый, а третий секретарь. Она после первого и второго должна голос подавать. И она женщина. У нас женщины знают свое место. Конечно, дома, когда муж бывший киномеханик, конечно, тут можно... Нет, дорогой, я несчастнейший человек на свете! Выпей, пожалуйста, за меня! И ешь, ешь, хватит разговаривать. Плов надо есть горячим.

18

Отобедав, они пошли будить Посланника, для которого Меред прихватил со стола целый поднос всякой всячины: тарелку плова, навалом винограда, только что выпеченный чурек. Нес он и большой чайник с чалом, с гок-чаем, светленьким совсем, горьковатым напитком, который, оказывается, тоже все снимал. И маленький графинчик водки установил на поднос - а вдруг душа потребует?

Высоко неся поднос над головой, умело неся, невысокий, кругловатый, быстрый в своем коротком, плавном шаге, шел по гостиничным лестницам, а потом по коридору Меред, веселый и в походке своей, круглоловкий какой-то. Он был одет наипростейше: рубаша, штаны, сандалеты. Но очень ладно сидела на нем эта одежда, служила, не выпячиваясь, и он не казался бедно одетым. Как ему было удобно, так и оделся. Случится той, он не будет трястись над своими брюками, страшась посадить на них жирное пятно. Случись срочная куда-то командировка, - в зной, в пустыню, на нефтевышку или к чабанам, - и он опять же готов, чтобы трястись в грузовике по пыльной дороге или даже на спине верблюда очутиться, а то и на спине ишака. Он был заряжен на любое дело, с готовностью готовый и к столу, и к дороге, к мгновению перемен. И хотя был он, как отрекомендовался, заведующим всей культурой города-порта Красноводск, он продолжал оставаться все тем же сельским киномехаником, кинокочевником, младшим братом и унаследователем веселого и лукавого Ходжи Насреддина. Можно было понять, глядя на него, за что приглянулся он некой строгой, но конечно же очень красивой девушке, ведь он был так непохож на ее сотоварищью по бюро райкома.

С этим подносом, пьяноватые все-таки, хоть шурпа и чал все снимают, явились они пред очи

Посланника. Похоже, вздремнуть ему не удалось, глаза его устало и неодобрительно рассматривали их, молодых этих, здоровых людей, у которых какие-то там были трудности и проблемы, неудачи даже и беды, хотя никаких не было у них проблем и бед, раз они были молоды и здоровы. Главное - здоровы! А они этого не понимали. Еще поймут! Не минует!

Самохин сидел за маленьким письменным столом, тяжело упершись в него локтями. Он ничего не писал и ничего не читал. Он выбрал это место в комнате, потому что оно, пожалуй, единственным было местом, где бы ни висели или ни разостланы были ковры. В такую жару - ковры! Но ведь это был "люкс" и это была гостиница областного центра, славящегося своим ковроделием. Даже кровать была застлана ковроплеточным покрывалом. И пол был устлан коврами. Полупустой графин с чаем стоял на письменном столе перед Самохиным.

- Спиваюсь вот, - сказал он.

- Правда, помогает? - радостно спросил Меред.

- Живой пока.

- Без веры пили или с верой?

- С верой, с верой, - вяло сказал Самохин. - Что, пришли по мою душу? Куда-то надо ехать? Что-то надо смотреть? Ох, старый дурень! Как это я дал себя уговорить на эту поездку?! Он не гипнотизер, этот ваш Ашир, Ростислав Юрьевич?

- Ашир Атаев? Это он вас уговорил лететь к нам? - спросил Меред, очень заинтересовавшись.

- Он, он. Сказочник какой-то. Наплел невесть что про ваш чал. Ну, пью. Ну, мутная какая-то жидкость. А дышать-то у вас нечем.

- Ашир вам правду говорил про чал, - сказал Меред, старательно прижмуривая глаза, отчего залукавилось его круглое лицо, совсем Насреддином стал. - Но с верой, с верой надо вкушать этот напиток. Без веры вообще ничего нельзя достигнуть. Даже комара нельзя убить, не веря, что попадешь в него. Подкрепитесь, прошу, и поехали. Нас ждут на ТЭЦ. Это - во-первых. Поглядим на опреснители. Морская вода входит, пресная вода выходит. Потом...

- ТЭЦ? Но это же жара в жару! Там же топки! - На Самохина было тяжело смотреть, так он испугался. - Зачем туристам ТЭЦ?

- Хорошо, подкрепитесь немножко, и покатаем в музей. Второй пункт нашей программы. Музей - это для туристов?

- С кондиционерами, надеюсь? - спросил Самохин, вяло отломив от чурека, вяло принявшись жевать.

- Правду скажу, не помню. - Лицо Мерета перестало лукавиться, могло оно быть и серьезным и даже печальным, оказывается. - У нас очень серьезный музей. Не помню...

И вот они в пути. "Волга" кружит, часто сворачивая, по нешироким, все больше на сход, к морю, улочкам, скучноватым, если правду-то сказать, где редки вязы-карагачи, но они хоть в силе, а деревья помоложе так исчахли от безводья, жары и знойного ветра, что даже их собственная тень от них сбежала.

И вот они въехали на маленькую круглую совсем площадь, просто площадку с единственным могучим вязом у обочины и с домом одноэтажным, приземистым, хмурым, стародавней постройки. Это и был здешний музей.

У карагача, в его тени, сидел моложавый старик в черном высоком тельпеке, в красном стеганом халате, и ему не было жарко. Он гордо сидел, зорко поглядывал, сухой был. Он чем-то торговал тут, в мешке у его ног какие-то зернышки зеленели-желтели, в них был утоплен стакан.

Не в дом этот унылый захотелось идти Знаменскому, а к старику величавому подойти. Он так и сделал, пошел от машины к продавцу, как оказалось, фисташек, чтобы поближе разглядеть столь неподвластного зною человека, с таким гордым, даже загадочным лицом, такого невозмутимого. Вот он-то и был истинным хозяином этой суровой земли. Вдруг старик пошевелил коричневыми губами, проговорил нечто невероятное:

- Ты Знаменский?.. Ашира знаешь?.. - Старик подождал, когда Знаменский кивнет ему, и тот оторопело кивнул. - Иди, куда пришел, я тебя подожду... Подойдешь потом, купишь фисташки... Иди!.. - старик закрыл глаза, отгораживаясь от вопросов.

Знаменский подчинился, повернулся и пошел к музею, от дверей которого ему махал нетерпеливо Меред. Один велел идти, другой велит спешить... И в каждом из этих, велящих, был Ашир Атаев, его из каждого выстреливали глаза. Оторопело пересек Знаменский изнывшую от жары площадку, на которой, ближе к хмурому дому, были воздвигнуты на постаментах из оплавленного солнцем песчаника чьи-то бюсты. Знаменский вгляделся, сложил посеченные ветрами буквы. Это были памятники Шаумяну, Фиолетову, Азизбекову, Джапаридзе. Так вот что это был за музей?! Это были четверо из 26-ти бакинских комиссаров, расстрелянных в восемнадцатом году где-то здесь, поблизости, английскими интервентами. Солнце плавало не плавая, склоняясь к морю, эти прямо в тебя смотрящие глаза, твердо, к смерти ужатые губы. Как велик бывает скульптор, который из самых простеньких поделок рук человеческих, призвав к работе солнце и ветер, время и память, превращает такие поделки в величественные творения, в памятники, при одном взгляде на которые у человека сжимается сердце.

С сжавшимся сердцем вошел в дом Знаменский.

Экскурсовод уже начала рассказ. Это была пожилая женщина, в темном не по-летнему платье, отдаленно и близко похожая на Надежду Константиновну Крупскую, какой она запомнилась по фотографиям уже без Ленина. Совсем другая, конечно, женщина, не то совсем лицо, но из той поры.

- Мы с вами, товарищи, находимся в бывшем арестном доме, - говорила экскурсовод. - Сюда-то и заточили двадцать шесть бакинских комиссаров, когда утром семнадцатого сентября восемнадцатого года пароход "Туркмен" встал на рейде Красноводска и был захвачен англичанами. Товарищ, прошу вас, не останавливайтесь пока у этого макета... - Экскурсовод окликнула Знаменского, который, войдя, сразу натолкнулся на макет в вестибюле, воспроизводивший в объеме и в деталях расстрел двадцати шести - в песках, в пустыне, но где-то рядом, поблизости, реально рядом и поблизости от этого макета. - Мы еще вернемся, товарищ, к тем мгновениям. А пока...

Экскурсовод вошла в зал, и Самохин и Меред пошли за ней, но Знаменский не мог отойти от макета, очень тщательно исполненного, старательно повторявшего картину И.И.Бродского, о чем уведомила выстуканная на машинке подпись. Но нет, живопись тут исчезла, сюда пришло иное. Сюда пришла истина. Так было. Вот так вот именно страшно все там и происходило, где-то совсем рядом, в песках, неподалеку. Тот же воздух оведал этот макет, что и тогда, там. Те же песчинки сюда залетали. И тот же зной тут царил. Расстреливаемые, в которых уже нацелились стволы, стояли со вскинутыми руками, будто они вышли на митинг, обращались к народу. Они угадали, так встав перед смертью. Они так встали перед Памятью. А эти, стрелявшие, и эти, сбоку стоявшие предатели - офицеры, штатские, батюшка в шляпе, отвернувшиеся от убиваемых, - а эти тоже застыли перед Памятью. И Память сейчас казнила

их, а не тех, кого тогда убили. Не нужны были залы, никаких больше не нужно было залов. Этот арестный дом, приземистая могила, и этот макет - Память, - вот и весь музей.

Знаменский повернулся и вышел на улицу. Он продрог в музее, и впервые в Туркмении он обрадовался беспощадному солнцу, чуть лишь его согревшему. Он снова пересек площадку, прощаясь, взгляделся в молодые, - а ведь молодые совсем! - лица. Им, этим легендарным большевикам, действительно легендарным и прекрасным в своем мужестве, в своей вере, прежде всего вере, было даже меньше лет, чем ему, они были моложе. А кто - он? Закатное солнце резко высветило высеченные резцом и ветром лица, в них невозможно было всмотреться, обжигало глаза. А кто - он? Спросилось, но невозможно было ответить на вопрос, в него тоже не удавалось всмотреться.

Знаменский подошел к старику, торгующему фисташками. Сморгивая, поглядел на него, страшась, что и тут жаром обдаст глаза. Нет, прошло, мир встал на свое место, величественный старик даже слегка улыбнулся ему, неумело, его тонкие коричневые губы не знали улыбчивого уклада.

- Кулек тебе приготовил, - сказал старик, извлекая из мешка сверток. Фисташки... Отдашь Аширу... Сам не разворачивай... Ему подарок... Спрячь...

Знаменский взял сверток, который был не кульком, а пакетом, быстро сунул, оглянувшись, в задний брючный карман.

- Не потеряй... - Старик, остерегая, поднял сухой, коричневый палец, погрозил им.

- Не потеряю... - Знаменский пошел от старика, но тот его остановил:

- Рубль отдай!

Знаменский вернулся, извлек из кармана смятую и влажную бумажку, протянул старику. У того насмешливые искорки промелькнули в нацеленных, дульцами, глазах. Совсем как у Ашира были глаза.

- Люди смотрят, - сказал старик. - Что за продавец, которому деньги не отдают?! Иди!..

Знаменский повернулся и пошел. Не к музею, а по крутой улочке стал спускаться, идя на солнце, которое все ближе прикидало к морю, к этому странному тут, беспрохладному морю, такому издали заманчиво-синему.

19

Вскоре из музея вышли Самохин и Меред. О чем-то они спорили. Меред настаивал, Самохин отказывался, решительно отмахиваясь. Увидев Знаменского, он торопливо пошел к нему, отмахнувшись и от подкатившей "Волги".

На крутой улочке, высоко взбежавшей, откуда широко был виден город, вжавшийся в скалы и прильнувший к морю, они сошлись, два чужестранца здесь, молча глянули друг на друга, молча стали оглядываться, отыскивая между домами промельки близкой пустыни, тех самых барханов, которые так тщательно были повторены на музейном макете.

- Меня поразил этот музей, - сказал Самохин. - И вас, вижу?

Знаменский кивнул.

- Восемнадцатый год... - Самохин удрученно всматривался в близкую даль, в побежавшие за окраинными домами гребешки барханов. - Шестьдесят шесть лет прошло с тех пор... А допусти их сюда, ведь опять начнут расстреливать. Ничуть не поумнели. Мало им, все им мало. Война продолжается, Ростислав Юрьевич, я так считаю, она и не прерывалась.

- Пожалуй.

- Только хитрее сделалась. А какие люди начинали нашу революцию, какие люди! Жаль, вы не видели их фотографий. Какие лица! Ясные! Честные! Окрыленные! Мы многого достигли, во многом победили, это так, тут спора нет. Но... в чем-то мы и потеряли, по ходу боя, так сказать... Приобвыкли, что ли?.. Когда долго идет война, когда телами в драке сшибаешься, бывает, что и друг у друга враги что-то перенимают. Можно так сказать: их роднит вражда. Парадокс, но это именно так. Поняли меня?

- Это вы обо мне?

- Да что вы?! Вообще рассуждаю. А если близко взглянуть, так и о себе. Разве я не приобвык по границам-то? Разве я не понабрался там чужого? Разве я тот, все тот же Санька Самохин, каким начинал в Москве? Классический пролетарий был. Все ступеньки прошел, придя из деревни, всю науку великую рабочего класса. Стране нужны были рабочие, я выучился, стал токарем на "Динамо". Стране нужны были солдаты, я вступил в июле сорок первого в Московское ополчение, а потом курсы кончил офицерские, а потом всю войну то на фронте, то в госпитале, то на фронте, то в госпитале. А потом, уже тридцатилетним, в институт иностранных языков подался. Вокруг девчонки. Стариком меня считали. Но я учился, вдавливал в себя английский. Я так рассудил, что раз уж уцелел, кому, как не мне, бывшему солдату, отстаивать наши интересы за мирными столами переговоров. Вот как тогда занесся! И что же, стал дипломатом. Покатил Санька Самохин в дальние страны. К столам переговоров не сразу вдруг подсел, но все-таки... Сбылась мечта? Так?.. Что ж, достиг многого, если со стороны взглянуть. Но... и потерял, потерял... Измельчился... Истаскался... Расслабился... Банкетным недугом занедужил... Нефрит, а он у меня есть, наличествует в полном объеме, - это ведь, Ростислав Юрьевич, именно банкетный недуг. И сколько еще в нас с вами разных недугов, если взглянуть. Понабрались в ближнем бою. Опасная это штука ближний бой. Вы-то теперь вглядываетесь? Гляжу на вас, изучаю, похоже, что вглядываетесь. Не унывайте, у вас еще вся жизнь впереди. Даете слово, что не будете унывать?

- Вам это важно, Александр Григорьевич?

- Важно! Вы мне симпатичны. Важно!

- Постараюсь. Но кто я теперь? Хуже чем с нуля начинаю.

- У вас есть время, у вас есть время. Я бы...

Подкатила "Волга", Меред выскочил из машины, взывая, вскинутыми руками, пускаться в путь.

- Программа, программа, уважаемые гости! - Меред всмотрелся в их лица, понял, что о серьезном шел разговор, поубавил напора в голосе. - Я понимаю, после такого музея походить бы, подумать бы, но... программа! Мы ведь с вами вроде туристов. Будущих!

- От ТЭЦ я все-таки отбил, а теперь куда? - уныло спросил Самохин, садясь в машину.

- На старейшее предприятие города, на наш прославленный рыбный комбинат! - Меред плотоядно сверкнул зубами. - Каспий хоть и обмелел, но еще дарит нам свои деликатесы! Нас ждут там вобла - и какая! - и пиво! Я весь высох, честно скажу.

- Это что же, копченая рыба?! - ужаснулся Самохин. - Ни за что!

- Ах, забыл, дорогой! - Меред сокрушенно ударил себя кулаком в грудь, но другой рукой быстро захлопнул за Знаменским дверцу и подтолкнул водителя, чтобы ехал.

"Волга" покатила, развернувшись, снова миновав крошечную площадь, на которой стояли четыре монумента, а под вязом все еще сидел старик в высоком черном тельпеке, горделивый и загадочный.

- Ни за что! - повторил Самохин. - Даже запах коптильни я не переношу! За версту обхожу!

- А как же будущие туристы? - печально спросил Меред, чувствуя, что вобла и пиво ускользают от него.

- Вот они и поедут с вами. А я верю вам на слово. Куда нам еще?

- Тогда к морю. В наш знаменитый пансионат, в зону отдыха ТЭЦ. Там один старик, между прочим, армянин, чудо сотворил. Пункт четвертый нашей программы. Между прочим, там ждет вас свежий чал.

- Поехали в пункт четвертый! - решительно распорядился Самохин.

- Исккупаться хоть можно будет? - спросил Знаменский.

- Чудесный пляж! Говорю, чудо! Розарии! Виноградники! Не исключены гурии-мурии!

- Никаких гурий! - строго сказал Самохин. - Никаких мурий! И куда смотрит ваша жена, Меред? Мы к морю катим? - строго глянул он на водителя, вислоусого пожилого украинца, подчеркнуто обрядившегося в вышитую украинскую сорочку без воротника. Был этот водитель молчалив и важен, поскольку вон куда занесла его судьба, в какую даль далекую.

- Побачите, - меланхолично молвил водитель.

Быстро отмелькали за стеклами машины низкорослые, вровень с дувалами, дома, редкими окнами глядевшие на улицу. Вся жизнь - там, во дворе, где, возможно, виноградники, фруктовые деревья и даже фонтанчики притаились и где близко перед глазами море, а обернись - скалы. Там жили люди, которым этот город не мимолетность, а вся их жизнь на земле. Где-то был дом Мереди, где-то был дом этого молчаливого украинца. Тут радовались, тут печалились, тут по-всякому у них было, у людей, живущих на этой уж очень все же суровой земле. Но жили, не сбегали отсюда. Что удерживает человека на такой земле? Привычка? Невозможность поменять судьбу? А рядом пустыня, пески, бескрайние пески. Что все-таки удерживало тут людей? Не эта ли суровость и удерживала? Ведь человек - загадка. Ему не всегда сладкое нужно для жизни. А тут вот мечтой жили. Мечтали о воде, которая все преобразит, сделав эту землю сказочным оазисом. А тут гордились своим Седым Каспием, который, хоть и обмелел, был щедрым все еще на рыбу. А тут традиции революционные жили, тут этот музей стоял, возвышались монументы прекрасных людей. И вода вроде бы уже подходит к городу. Та самая Амударья, которая сбежала, поменяв русло, с этой земли, давным-давно, несколько столетий назад, ныне вот возвращалась. По трубам ее вели к Красноводску, совсем рядом эти трубы. Что-то еще будет тут, когда грянет вода?! Скучный городок, хмурый, но затаилась в нем надежда. И тут тихо, гона нет, а за дувалами, если заглянуть, как заглянул он во двор Дим Димыча, может открыться глазам чуть ли не райская картина. Мелькали домики Красноводска, а в глазах встал тот домик, где он теперь жил. Еще недавно не поверил бы, что сможет жить в такой халупе. Смог. И даже потянуло туда, в те стены, к тем голосам, к тем людям. Светлана вспомнилась, ее мальчик, этот Дим Димыч хлопотливый, и потеплело на душе.

Машина выскользнула из города, покатила по удручающе безрадостной дороге, где лента асфальта с множеством заплат из щебенки пролегла по земле, давно превращенной в припортовую свалку. Ржавые трубы, побитые бетонные плиты, кабельные катушки, искореженное железо... И глаза начинали радоваться близким и бесплодным барханам, открывать там и красу и жизнь, когда сравнивали пустыню с этой освоенной людьми, поруганной людьми прибрежной полосой.

- Дорога не для туристов, - сказал Самохин. - Куда вы нас везете, Меред?

- А вы посмотрите на эти трубы, вон на эту ниточку из труб, которая тянется вдоль дороги. - Меред опустил стекло, высунулся, руку протянул, будто хотел погладить эту ниточку из перепятнанных мазутом, явно старых обсадных труб, добытых где-то на нефтевышках, где отслужили свой срок, и теперь вот зачем-то были соединены в эту самую ниточку. - Вы смотрите, смотрите на эти трубы, не выпускайте из глаз. Клянусь землей своих предков, а они с Мангышлака, все туркмены происходят с Мангышлака, хотя текинцы так не думают, клянусь Мангышлаком, клянусь вам, Александр Григорьевич, что вы, если только я еще немножко вам поклянусь и если наш Петро не будет тащиться со скоростью старой черепахи, которую даже шакал не станет есть, то мы, клянусь вам!.. Э, вот теперь смотрите!

Машина свернула, соскользнула с дороги, миновала обширную лужу заржавленной воды, и вдруг выкатилась, вкатилась в сад. Благоухание роз встретило их, здесь всюду росли розы. Это - сперва. А сразу за розами стеной стояли гранатовые деревья, в ветвях которых еще не рдели, а лишь розовели елочными шарами гранаты. Зато яблоневые деревья, вставшие рядом с гранатовыми, рдели. И на земле было полно яблок, они лежали в живой траве. Эта живая трава была самым невероятным здесь чудом. Нет, и еще что-то таилось, как чудо. Солнце шло на закат, оранжевый, в пепельной дымке круг низко опустился к земле. И там, где плыл этот круг, стояла густая, на глаз прохладная синева. Это было море. Но и это еще не главным тут было чудом. В лицо ударил дух морской, прохлада морская коснулась их, всех обласкав, как счастьем. Вот что было тут главным чудом. Каспий дарил им свою прохладу.

Машина подкатила к легкому домику, от которого было до моря с десятков шагов. Влажный песочек увиделся, на который накатывались белые, радостные гребешки. А за ними - синь!

Знаменский выскочил из машины, кинулся к морю. На бегу стянул с себя рубаху, присев, упав на влажный песок, стянул джинсы, разулся, дыша, дыша этим горьким, влажным, морским духом песка, а потом, выпрямившись, с замирающим сердцем шагнул в море. Здесь было сразу глубоко. Он поплыл. И заплакал.

20

Он плыл недолго. На берег шла крутая волна. Его подбрасывало, волны пошвыривали им, белые гребешки превратились в пенистые, страшноватые стены. И мешали слезы. Откуда? Как они могли случиться? Он никогда не плакал, разве что в детстве, но и о детских своих слезах забыл. Так жизнь катилась, что слезы в ней не требовались. Даже тогда, недавно, когда все сразу развалилось, когда и пугали, и позорили, и стыдили и когда было и страшно, и стыдно, сухими оставались глаза. Так и должно, если ты мужчина. Да при чем тут это? Он просто не умел плакать, никогда раньше не высекала жизнь в нем слезы, не звала к ним. И вдруг здесь, вдруг выбрызнулись... Допекла жара! Волны захлестывали лицо и уже не понять было, все ли еще он плачет. Но стыдно было перед самим собой и еще как-то странно было, будто эти слезы чем-то и одарили, принесли облегчение. Нельзя жить, сжавшись, а он так теперь жил, сжавшись, все время помня, что с ним стряслось, все время помня, ни на миг не высвобождала его память. Сейчас он разжался, будто сдался, самому себе сдался, на

милость самого себя, - вот что это были за слезы.

Он повернулся, выждал накатывающуюся белым гребнем волну, уступил себя ей, и волна подкатила его к самому пляжу и отхлынула, кинула на песок. Он поднялся, пошатываясь, побрел к своей одежде, вспомнил про пакет для Ашира и испугался, что так небрежно бросил его. Но вокруг не было ни души. Вдалеке, в виноградных рядах, важно вышагивал Самохин, сопровождаемый рослым и тучным, белокудрявым стариком. Там с ними был и Меред. А пляж был безлюден. Ни от кого не надо было прятать глаз. Он присел на песок, обсыхая.

А потом был снова обильный стол, шурпа и плов, но и чал и творог для Самохина, стол ломился от дынь, винограда, плодов и овощей, выращенных здесь этим вот стариком армянином, были речи, были тосты, все пили за будущее здешних мест, дикого пока побережья Каспия в этих местах, которые, чуть ороси их, вон каким могут райским уголком обернуться. Бросовая, по сути, вода, опресненная морская вода, которая пришла сюда от ТЭЦ по ниточке бросовых же труб, а какое чудо она сотворила. Пили, конечно, и за старого чудодея, за седоголового армянина, скромно сидевшего с края стола, скромно прижмуривающего свои мудрые глаза. Выпил даже чуть-чуть и Самохин, тоже невеселый, хмуроватый, отрешенный. Ему бы тоже всплакнуть, полегчало бы. Но с чего ему плакать? У него все было в полном порядке. Разве что смертельный недуг им властвовал.

А потом той же дорогой назад. Уже поздний вечер был, когда они вернулись в свою красноводскую гостиницу, разошлись, простившись с Мередом до утра, а рано утром предстояло им лететь на вертолете в Кара-Калу.

- Пробил для вас вертолет, дело нешуточное! - похвастал Меред. - А как же, и гости нешуточные! Чрезвычайный и Полномочный Посланник по делам международного туризма!..

Войдя в свой номер, Знаменский обнаружил большой пакет из плотного целлофана, до краев набитый золотистой копченой рыбой, отборными, тучнобрюхими лещами. Это явно был дар рыбкомбината, запланированный дар, хоть гости и не явились.

В номере было невероятно душно. И еще этот запах рыбы, горячий запах и назойливый, если ты сыт сверх всякой меры. Знаменский засунул пакет в холодильник и пошел принимать душ. Но вода из кранов не пошла. Никакая, ни горячая, ни холодная. В ванной комнате стояли два ведра с водой - паек на номер "люкс". Был тут и ковшик, плавал в одном из ведер, приглашая им воспользоваться. Знаменский зачерпнул воды, вдруг ощутив себя скупцом. Он только вымыл руки и ополоснул лицо.

В дверь кто-то постучал. Меред вернулся? Знаменский отворил. На пороге возник Самохин, в пижаме, с несчастным лицом. В вытянутых руках он брезгливо нес пакет с копчеными лещами.

- Умоляю, заберите у меня это! - чуть не плача сказал Самохин. Выбрасывать подарок не посчитал возможным, а держать в номере просто невыносимо.

- И у меня такой же. - Знаменский взял у старика сверток, стал запихивать в холодильник. - Разве у вас нет холодильника в номере?

- Там у меня лекарства, от этой рыбки они бы все провоняли. Можно, я у вас посижу немного? Спать еще рано, да и не усну.

- Прошу вас, Александр Григорьевич. И я не думаю, что легко усну.

- Музей в глазах? - Самохин прошел в комнату, где такой же, как и у него, крошечный стоял письменный стол и где такие же повсюду висели и выстилались ковры. Он огляделся затравленно и подсел к письменному столику, единственной не шершавой и не жаркой тут

поверхности. - Эх, чал забыл! Привыкать начинаю к этой мутной жидкости. Самовнушаюсь.

- Принести?

- Не нужно, благодарю. Я ненадолго к вам. Да, музей... А какая земля, страна какая! Тут все строго на тебя глядит. Не почувствовали? А ну, что за человек, каков? Не почувствовали? А знаете почему?

- Нет.

- Приграничная полоса. И дело не в границе государственной как таковой. Дело в том, что места эти всегда были полем боя, полем чьих-то вожделенных интересов. Нефть! Недаром сюда кинулись англичане. О, эти знают, где добывается золото! Прирожденные загребатели чужого! В четырехстах километрах отсюда Иран. А там, лишь чуть подальше от нас, идет война Ирана с Ираком. Религиозная война, бессмысленная по сути, если вообще существует суть у войн. И никакого, знаете ли, двадцатого века. А море какое! Вы искупались, посмели. Я вам страшно позавидовал! Седой Каспий, опасная стихия. А вы нырнули, поплыли. Я даже испугался за вас. Нет, все обошлось. Но вы вернулись какой-то другой. Устрашились все-таки? Заглянули в пучину? Ничего, дружок, я понимаю, вам худо, даже очень худо, но это все-таки не нефрит... запущенный до упора... - Самохин замолчал, побарабанил громко пальцами по поверхности стола, принюхался, ловя ненавистный копченый запах, поднялся. Пойду. На улицу, что ли, выйти? Завоняли нам номера наши щедрые хозяева. Пойду. - Он пошел к двери, обернулся, беспомощный и подавленный. - А на улице ветер с моря чуть ли не шквальный. Я смотрел в окно. Носятся тучи песка по улицам. Ну и местечко!

Он ушел. Ветер, ворвавшийся и в гостиницу, сердито прихлопнул за ним дверь.

А ведь мудрый старик. Жалкий и мудрый. На пороге стоящий. На пороге в пучину. Подходить к этому порогу тяжело. Вопросы изводят, так ли прожита жизнь. У него все в порядке, по течению плыл, на берег его не вышвыривало, а он вот изводится. Измельчился... Истаскался... Расслабился... Прав он, это точная мысль, что в ближнем бою враги, будто наобнимавшись, сами того не замечая, перенимают что-то друг от друга, прямо по-родственному перенимают. Точная мысль! Вдруг вспомнилась Знаменскому, - в этой гостинице на краю света, - другая гостиница. Сперва даже не понял, почему вдруг вошло в глаза, извлеклось из памяти это воспоминание. Прыгает наша память. Очень большие скорости часто развивает. То ты тут, то ты за пять тысяч километров отсюда, а через миг, за долю мига, снова здесь, снова на пять тысяч километров назад отлетел. Вдруг вспомнилась Знаменскому вокзальная площадь Хельсинки... Когда это было? Да года три назад. Отозвали поближе к Москве, Лена могла бы часто туда к нему наезжать, всего ночь пути в поезде, вечером голову на подушку, а утром уже чистенькая станция с цветочками в вазонах на перроне и замечательный кофе в чистеньком, благоухающем тут же изготавливаемыми пончиками пристанционном кафе. Как называлась эта станция? У финнов все названия такие замысловатые, что можно язык своротить. Вспомнил! Вайниккала... Да, именно так, Вайниккала... Первая остановка после нашей границы, после станции Лужайка. Долгая остановка, таможенный контроль, проверка виз. Финские таможенники, собственно, только одно досматривают, спиртное. Можно провести две бутылки водки и бутылку сухого вина. Все сверх того - либо отбирают, либо велят вылить при них же. Какая-то милая игра, а не досмотр. Таможенники идут по вагонам, всматриваются в лица. Всех же не обыщешь. И вот они, смотря, высматривают потенциальных провозчиков лишней бутылки. Часто угадывают, психологи как-никак. И тогда показывай им чемоданы. Его ни разу не попросили открыть чемоданы. Служебный паспорт тут роли не играет, корреспондентский аккредитаж - тоже. Досматривают любого, кто покажется предрасположенным к бутылке. Тонкая игра, безобидный досмотр. Но его ни разу не заподозрили, он внушал доверие, можно было предположить, а так оно и было, что он вполне кредитоспособен, чтобы и в Хельсинки, если нужно ему будет, купить эту самую водку. В десять раз дороже? Ну и что? Он может себе это

позволить. Это угадывалось, и финские таможенники уважительно взглядывали на него.

Да, Лужайка... Вайниккала... А почему привокзальная площадь в Хельсинки?.. А потому, что там, в глубине этой площади, стоял старинный, самый старый хельсинский отель, от прошлого века дом. Все прочие дома на площади были много моложе, сверкали большими окнами и витринами, а этот был хмуроглаз, северным был жителем, толстенные стены умели держать тепло, когда еще печами и каминами отапливались гостиничные номера. Вспомнилось, добыла память, как назывался этот отель. "Севра-отель" - так называли его хельсинцы по старинке, хотя надпись по полукружью ротонды над входом в отель была другой. Да, вспомнился этот отель... Здесь, в Красноводске, среди жарких ковров и с пыльной завесой за окнами от ураганного ветра. Но почему он именно вспомнился?..

Знаменский подсел к столу, вторя Самохину, забарабанил пальцами по гладкой поверхности, приметив на столе круглые пятна от стаканов. Этот письменный столик, оснащенный чернильным прибором времен еще довоенных, с бронзовыми крышечками на чернильницах и ручкой с пером, именно с пером, носящем на себе следы чернильной закаменелости, наверняка не ведал ни единого письменного усилия своих постояльцев, но зато знал звон стаканов, заливался многожды и водкой, и коньяком и, наверное, думал, что для того и придуман, чтобы на нем распивались крепкие, оставляющие следы напитки.

Да, а сперва была выпивка... А как же, все начинается со звона стаканов, что здесь вот, что там вот. Но не в "Севра-отеле". Сперва не в нем. Смешно вспомнить, решили отобедать в клубе пожарников. В Хельсинки полно этих клубов по профессиям. По сути, обыкновенные ресторанчики. Но все-таки этот вот для студентов, этот для любителей духовой музыки, а есть и для актеров, есть и для землячеств, кто из Турку, кто из серединного Куопио, кто из самого северного, заполярного Ивало. Этот, где тогда встретились, был рестораном, полюбившимся пожарниками. Это были весьма состоятельные бизнесмены, два молодых человека, одного с ним возраста, ну, чуть постарше, но один уже совладел крупной обойной фабрикой, а второй был крупным издателем. Был еще и третий. Этот был представлен как человек из рабочих, а ныне профсоюзный деятель. Веселый, рыжебородый, неумолкаемый рассказчик, владевший худо английским, худо французским, худо русским, но смело управлявшийся всеми тремя языками, смело переводивший, поскольку бизнесмены твердо знали только свой финский, и лишь выпив, загомонили и по-английски, и по-французски, да и по-русски тоже. Русский, как часто выяснялось, когда третья-четвертая шла рюмка, очень многие знали в Финляндии. Память у них усвоила этот язык, но память наша причудлива, часто придерживает свои знания, капризничает, скрывает, хитрит.

Так почему же все-таки выбрали ресторан пожарников? Шутки ради, надо думать. Приглашавшие, видимо, решили продемонстрировать свою фантазию. И кажется, в этом ресторанчике хорошо готовили рыбу. Мол, пожарники все время имеют дело с водой, но и рыба тоже не обходится без воды. Шутники! Впрочем, здесь было тихо, даже безлюдно в тот дневной час, когда они встретились. Надо думать, что эта вот уединенность и определила выбор. Потом-то он понял, что именно в этом было все дело. Сперва, пока были трезвыми, два бизнесмена и один профсоюзный деятель из рабочих соблюдали осторожность. Встречались-то они с советским журналистом, а в Хельсинки нет-нет да и начинали задуть холодные ветры, особенно когда кто-либо из высокопоставленных штатников оказывался визитером города. В те дни в Хельсинки гостил вице-президент Буш.

Итак, обед с двумя молодыми, но состоятельными бизнесменами и одним развеселым профсоюзным деятелем из рабочих. Дань вежливости, любознательности, а возможно, и соображения рекламы, поскольку обедом кормили советского журналиста, а у обоих бизнесменов были с Россией деловые интересы. Ну, а профсоюзный деятель, он же был из рабочих...

Обед как обед, сколько их было, с кем только и где только - не счесть, не упомнить. Этот -

упомнился. Вспомнился. Здесь вот, отмелькав памятью с крайнего юга на крайний север, из Средней Азии в северную Европу, а оттуда назад, в Красноводск. Пять тысяч километров туда, пять тысяч километров сюда, снова туда, снова сюда и снова туда. И все это за миг какой-нибудь. Не со скоростью ли света работает наша память?

Обед как-то сразу удался, весело пошел. Молодые собрались люди за столом, никакой официальной цели у них не было. Знакомство, все ради этого самого знакомства, друг друга познания. Соседи как-никак. Им нравилось к тому же, что человек из России объехал весь мир, что был он европейски воспитан. Они все время дивились всякой малости в его поведении, восхищались его умелости за столом. Элитарный, это сразу чувствовалось, был этот гость из России. Ему нравилось, что им он нравится, да и славные были парни. Забавные отчасти в своем старании подражать английскому мужскому образцу, сдержанной манере английских джентльменов, а не каких-то там развязных янки. И когда они узнали, что он год провел в Оксфорде, то окончательно влюбились в него, не уставая изумляться, что в советской России есть, оказывается, и такие вот, как он. Словом, обед удался, он раскованно пошел, приязненно, и когда череда блюд подвела их к завершению трапезы, жаль стало расставаться. Да еще и не допито было. Финны медленно расшевеливаются, но уж если расшевелились... Да и дружба же началась... Словом, молодые и заводные хозяева преисполнились желанием продлить общение и чем-либо даже изумить столь симпатичного им гостя. Не закатиться ли куда-нибудь еще, сменив, так сказать, антураж? Осторожность - по боку! Буша с его холодными ветрами - и его по боку! Да здравствует доверие! И - покатили.

И прикатили к "Севра-отелю", по пути рассказав его историю, что это самый уважаемый отель в городе, когда финны хотят побыть сами с собой, что это даже в чем-то закрытый отель, не для иностранцев, с виду даже бедноватый отель, старомодный, с мрачным и не слишком ухоженным холлом. Но внутри там есть такие комнатки... Но все партии из главных именно там проводят свои конференции. Но... словом, они ему там кое-что покажут.

Прикатили...

Ветер за окнами становился ураганным. Сплошной стеной шел по улочкам песок, ворвавшийся из пустыни, барханный, до крови секущий песок. Наверное, и море вздыбилось. Каспий оттого и прозван седым, что этот ветер из пустыни в клочья рвет его, вздымает, вспенивает...

Молодые бизнесмены, да и профсоюзный деятель из рабочих, как оказалось, были очень уважаемы в "Севра-отеле". Едва вошли, едва швейцар распахнул двери, к ним кинулись навстречу и еще какие-то униформы, появился и метрдотель во фраке. Сбегались, кланяясь. Не совсем обычная то была манера поведения в строго демократическом Хельсинки. Восток вспомнился, поясные там поклоны служащих отелей перед богатыми гостями, особенно иностранцами. Но то было на Востоке. Стало быть, он обедал нынче с очень уважаемыми в городе лицами. Он и сам оказался в отблеске их значительности. Метрдотель, прикинув, заговорил с ним по-английски и не ошибся, услышав уверенную, с лондонской накатливой невнятицей, ответную фразу. Англичанин! Метрдотель был рад приветствовать в своем отеле именно англичанина. Этот отель был в английском духе. И вообще, в Хельсинки особенно уважают англичан, их благовоспитанность, сдержанность. Совсем иное дело гости из Штатов, которых сейчас полно в городе. Немножко шумнее, чем хотелось бы, не правда ли? Метрдотель был счастлив приветствовать гостя из Британии. Кстати, английская королева с супругом, когда она была с визитом в Хельсинки, посетила их отель. Осталась фотография их посещения. Большая честь, не правда ли? У их отеля давняя история. И даже историческая история. Генерал Юденич имел тут штаб в пору, когда его войска наступали на Петроград. Этот зал с белым камином, он так и называется "залом Юденича", сохранен и поныне в неизменном виде. Все это метрдотель рассказывал англичанину Знаменскому, на не слишком хорошем английском, но из хорошо затвержденного, это была его обычная информация для почетных гостей. Рассказывая, он вел их куда-то, отдавая на ходу короткие

распоряжения возникавшим и исчезающим официантам. Они сразу попали не в парадные помещения, они продвигались узенькими коридорами, поднимались по крутым узким лестницам, они шли в тайное тайных отеля. И куда шли, все таинственней и торжественней становились лица молодых бизнесменов и их друга, профсоюзного деятеля из рабочих. Они просто взволнованными становились, их лица.

В узких коридорах лампочки горели тускло, в темно-коричневых стенах тут жила стародавняя пыль, въевшаяся в обшивку. Не со времен ли Юденича пыль? Он, помнится, напрягся, начал было притормаживать. Но потом журналистская любознательность возобладала, да и спутники его были милейшими людьми, в их планы входило развлечь его, ну, изумить, но и только. Пожалуй, он был поопытнее их, пожив и поработав на Ближнем Востоке, побольше их повидал. Стриптизом каким-нибудь решили угостить, заставив раздеться перед ними неловких и застенчивых северяночек? Вот уж удивят его! Это после Парижа и Каира...

А ветер за окнами все ураганнее делался, он ударял в стекла кулаками песка, сотрясал рамы, и кондиционер в спальне, задыхаясь, жалобно присвистывал. Душно стало, просто не вмоготу. И трудно, медленно стало вспоминаться, притормаживать стал Знаменский свою память, будто там, в узких, пыльных коридорах, на узких лесенках "Севра-отеля" начал он упираться и притормаживать, решив повернуть к выходу. Но ведь не повернул. Его вели, и он шел.

Память притормозила, помедлила, дала ему поглядеть за окна в эту мглу из песка, дала ему прислушаться к колотящимся в стекла кулакам, и снова повела его в тайную тайных хельсинского отеля, где он покорялся чужой воле, беспечно уверовавший всем опытом своей жизни, что ничего худого с ним не случится.

Вошли. Метрдотель торжественно распахнул дверь и замер, потеснившись, чтобы не мешать гостям.

Комната, куда они вошли, была обыкновенным банкетным кабинетом, из небольших, когда к столу собираются человек десять - двенадцать. И это был запущенный, явно редко посещаемый кабинет. Все в нем в полумрак было погружено, из-за задернутых штор сочился пыльный и коричневый от пыли свет. А когда шторы были разведены одним из суетившихся официантов, то глазам открылись старые, обшитые деревом стены, пыльные, потрескавшиеся, утратившие свой цвет, и открылся стол, на сукне которого пестрели древние пятна, вмиг, правда, исчезнувшие под крахмальной скатертью, которую торопливо накинул на стол другой из суетившихся официантов. И вот уже появились, встав толпой у края стола, маленькие, золотоярлычные бутылочки пива, появились под фигурно заломленными салфетками тарелки с миндалем в россыпи горячей соли, призывно зазвенели бокалы, пробуждаясь и побуждая взять их в руки. Официанты исчезли, метрдотель исчез, стало тихо, как в храме. И лица его новых знакомых, авторов этой наиобыкновеннейшей затеи попить пивка после обеда, ну пусть даже дорогого пивка, в каком-то дорогом ресторане, а вот лица его хозяев вдруг стали даже не торжественными, а напряглись, помрачнели, или нет важно насупились. С чего бы? Ни яств волшебных, ни вин заморских, столь здесь дорогих, и даже ни намек на стриптиз - какой уж там стриптиз в такой сумрачной комнате? И все? Пивком его решили угостить? Он огляделся, понимая, что чего-то еще не углядел здесь, что неспроста все-таки так напряглись, насупились, заважничали эти три молодых финна. Огляделся и увидел на одной из стен фотографии. Не разобрать было, чьи это были портреты, а это были портреты. Он подошел поближе, чтобы разглядеть. Фотографии были вытянуты в шеренгу. Эта шеренга прерывалась посередине небольшой нишей, в которой стояла маленькая, но в полный рост скульптура, вырезанная из темного дерева. Он вгляделся, слыша напрягшуюся за спиной тишину. На фотографиях-портретах были одни только мужчины, кто в штатском, кто в военном. Твердые воротнички, старомодная повязь галстуков, а у военных старомодные, кончиками вверх, усы и френчи, каких теперь не носят.

Стоп! Ринулась память назад, сюда, вот в этот город, на улицах которого сейчас хозяйничала пустыня, песком тараня окна и стены, завихриваясь смерчами на площадях. И на той площади, где стоят четверо из гранита, сейчас сплетаются смерчевые столбы, выстрелами хлопая от ударов о гранит.

Фотографии и фотографии... Из одного времени люди, повязанные одной историей и одной эпохой, столь похожие старомодными воротничками и повязью галстуков. Музей и музей! Но только в воротничках и галстуках их сходство, а дальше - различие, противоположность, вражда, ненависть, смертельное противоборство. Музей и музей... Здесь и там, в той коричневой комнате "Севра-отеля". Так вот что добыла ему память?! Ко времени... К месту... Память, о, память наша умеет стукать нас лбом в стену!

Так что же это были за люди на тех фотографиях? Кто же это был изваян там из дерева и, как святой в церковном притворе, помещен в нишу? Память снова, вмиг отмахав пять тысяч километров, примчала его к стене в той комнате, напомнила ему, как он вчитывался тогда, близко наклоняясь, к надписи под фотографиями и скульптуркой. На трех языках были надписи: на финском, на немецком, на английском. Эрфурт... Рангел... Рюти... Вальдек... Гейндрихс... Диттел... В дереве же был изваян Маннергейм... То были люди войны, то были враги, а иные и просто гитлеровцы, которых и врагами невозможно назвать, ибо они хуже врагов, им нет названия, хоть на финском, хоть на немецком, хоть на английском.

А что же было дальше? Вот в этом-то и вся суть: что же было дальше?

А ничего, ничего особенного. Стали пить пиво. Да, разговор прервался, почти прервался, стал труден. Он вспомнил себя там, сейчас, здесь вспомнил. Ему было трудно, вспомнил, что было трудно, хотелось подняться и уйти, он вспомнил, что ему хотелось это сделать. Но он не поднялся и не ушел. Что удержало? То, что он был гостем? То, что он был в чужой стране, живущей по своим законам и со своими кумирами? Но хозяева его нарушили правило гостеприимства. Они не должны были тащить его в свою коричневую комнату. Это была их вера, а не его. И все же он не ушел, хотя и замкнулся, - он помнит! Не ушел, хотя ему там было противно до тошноты, - он помнит! - до тошноты. Не ушел...

А они, а Шаумян, Азизбеков, Фиолетов, Джапаридзе, все двадцать шесть, а они бы в той комнате остались? Ни на минуту! Ни за что! Ни ради никакой дипломатии! Они бы ушли! Разгневанные и презирающие! Но... Но... Но их бы и не привели в ту комнату! Не посмели б!

Вот к чему подвела его память, сравнивая и тыкая лбом в стену: его привести туда посмели. Посмели!

Но и это не все. Дальше вспоминать? Что ж, пошли, Память, дальше... Где и вспоминать, как не здесь, где так трудно дышать от урагана за окнами. Когда и вспоминать, как не сейчас, когда отлетел ты уже не памятью, а судьбой. Пошли, пошли дальше...

А дальше было вот что... Попили пивка, хмурые и молчаливо рассорившиеся, похрустели соленым миндалем, потомились от молчания и ушли из этой коричневой комнаты, прогорклой от пыли. Расстались на улице? Нет. Хозяевам страстно захотелось загладить свою вину, они просто умоляли его не покидать их с досадой в сердце. А когда финн хочет загладить свою вину, когда он хочет быть уж совсем беспредельно гостеприимным, он приглашает к себе домой "на сауну". Не в сауну при каком-нибудь отеле или учреждении, что дело обычное и даже почти обязательное, а "на сауну" к себе домой. Выше этого нет гостеприимства. Это означает, что будет и сауна конечно же, но будет пито-перепито, будет и разговор по душам с беспредельной откровенностью, какой так редок у молчаливых и скрытных финнов. Как было отказать? Покатили.

Да и нужно было, важно было понять, что толкнуло их, этих финнов, удачливых и жизнерадостных, на столь дикий, мрачный поступок. Ему тогда казалось, он уговорил себя в

этом, что, побыв с ними, он их сумеет понять. В пути, он помнит, он все время думал, ну что за люди это, что их толкнуло потащить его в ту комнату? Бравата? Им ли мечтать о черной поре войны и фашизма, столь влюбленных в жизнь? Да, скорее всего, бравата. И он решил, ему захотелось в это поверить, что он столкнулся всего лишь с бравадой. Но чтобы поверить, надо проверить. Он и ехал с ними в гости к одному из них, чтобы проверить. Так ли уж трудно уговорить себя на безрассудство, на бесконтрольность, призвав на помощь рассудительность и самоконтроль. Это хитрая штука - самоугоуваривание. В чем хочешь можешь самоугоувариться. Он ехал с ними, чтобы понять их. Впрочем, опыт, каким он разжился в последние годы, вполне уверенно сулил ему, что все сложится как нельзя лучше, все обойдется.

Они ехали домой к тому из двух бизнесменов, кто был крупным издателем и, кажется, и сам пописывал, его звали Арво. Вот и еще один довод в пользу поездки: он ехал к коллеге, и уж дома у него он во всем разберется, поглядев его книжечки, картинки на стенах, какие-то еще фотографии увидев. Писатели, журналисты очень откровенны в своем домашнем обиходе, любят похвастать, открывая себя, того не желая. Вот тут-то он и распоймет этого Арво.

Дом у Арво был замечательный. Это был дом, обладающий тем редким секретом, так построенный, так обставленный, в котором хочется жить. Вошел в него и понял, что тебе тут хочется жить. Почему? Трудно объяснить, в этом и секрет такого дома. Уют в доме Арво был симпатичен, комфорт не угнетал своей похвальбой, было много старых и честных книг.

При доме был сад, совсем крошечный, а все-таки сад, с какой-то даже таинственностью, глубиной. Этот дом, конечно же, был рассчитан на семью, но он был пуст, хотя угадывались в этих стенах дети, будто слышались их захлебывающиеся беспечно голосом, угадывалась хозяйка, женщина, чьей волей расставлялась мебель, выбирались обои, находилось место всякой мелочи. Но дом был пуст, если не считать старушки-домработницы, а возможно, просто соседки, приглядывающей за порядком. В большом этом доме Арво жил один. Ах вот что?.. Одиночество?..

- Семья на озерах, на юге? - спросил он у другого бизнесмена, которого звали Раймо, рассчитывая, что тот подтвердит его догадку.

- Он расстался с семьей, - шепнул в ответ Раймо, а бородач сделал таинственное лицо, давая понять, что все тут непросто, совсем непросто.

Итак, его первая же догадка подтвердилась. Арво жил один, он был одинок, а одиночество чудит с человеком.

Возобновилось застолье, но настороженность, возникшая там, в коричневой комнате отеля, сидела рядом с ними и, как некая хмуристая дама, закинув ногу на ногу, пронзительно поглядывая, покуривая, пускала им дым в лицо.

Было решено затопить сауну. Мигом сбегал Арво за коротенькими аккуратными березовыми полешками, ловко стал растапливать печь. Сауна в доме помещалась в подвале, но это был прекрасно оборудованный подвал, с комнатой для отдыха, обшитой сосновыми, сучковатыми и смолянистыми досками, жившими еще лесным духом. А сауна, тоже забранная в молодое дерево, набирала тут жар не с помощью электричества, а от печки, в которой мигом занялись, затрещали березовые чурки. Вскоре эта печка накалилась, привыкшая к каждодневной своей горячей работе. И выплеснут был первый ковш на плоский верх, первый легкий парок коснулся голов, это была и сауна и русская парилка, здесь было все просто и понятно, хороша была сауна у Арво. Но и здесь, где бы в самый раз пожить в бездумье, позволить себе расслабиться, доверившись легкому березовому жару, но и здесь настороженность не оставила их.

Казалось, сидит эта дама, накинув белую как саван простыню себе на плечи и бедра, сидит

на нижней ступеньке и пылливо, скептически поглядывает на них - голых и смущенных.

Из-за двери раздался голос старухи уборщицы, она звала Арво, сообщала, что кто-то к нему приехал.

Арво сорвался с самого верха, в вихре пара вылетел из сауны, мелькнув нагишом мимо старухи.

- О, началось! - хмыкнул рыжебородый. - Стюардесса явилась!.. - Он пояснил ему: - Это целая история... Война... мир... Вот прилетела...

Ах вот что?! Несчастливая любовь?! Чего только не творит с человеком несчастливая любовь...

Сауна прервалась. Они быстро оделись и поднялись в гостиную. Там, посреди гостиной, стояла молодая женщина в голубом жакетике, с синей шапочкой, короной приколотой к закрученной пепельной косе. Она, казалось, никак не могла понять, зачем здесь очутилась. У нее было выточенно-красивое и очень невеселое лицо, отрешенное. Арво стоял у стены, прижавшись к ней спиной, застывший, смятенный, на себя непохожий. Он был всего лишь в банной простыне. Но был он не смешон в этом наряде, босой, с мокрыми волосами. Он показался гладиатором, только что пораженным мечом. Ах вот что?! Вот как тут у него, у этого хваткого бизнесмена, жизнь оборачивается?!

Гости были забыты, эти двое их не замечали, и гости покинули этот дом, тихонько ступая, будто уходили от больных.

- Финны любят трагически, - пояснил ему Реймо, а рыжебородый закивал, похмыкивая. Он предложил:

- Я отвезу вас в гостиницу. Вы где, в "Президенте" все еще? Квартиру еще не сняли?

- Нет, все еще в "Президенте".

Покатили. Минут через пять подкатили к "Президенту", новенькому, из стекла и металла отелю. Можно бы было и распрощаться. Но рыжебородый увязался за ним. Обойный бизнесмен отвязался, распростился, а этот, профсоюзный деятель из рабочих, толстый и веселый, чуть что и принимающийся хохотать, никак не хотел его покинуть, звал еще выпить, еще добавить.

Ну, в каком-то баре выпили, добавили. Еще куда-то переместились, здесь, в этом отеле, полно было баров, больших и маленьких, - еще добавили. Почему-то очутились на этаже, где громадный висел портрет президента Кекконена, который был написан Ильей Глазуновым, и рыжебородый, похохатывая, рассказал историю этого портрета и почему он здесь очутился. Президент Кекконен ни слова не сказал, понравился ли ему портрет или нет, он только велел подарить его отелю "Президент". Он пошутил очень по-фински, он сказал: "Этот президент должен пребывать в отеле "Президент".

- О, наш Урхо очень умный человек! - похохатывая, сказал рыжебородый. Добавим?! Мы должны выпить за его здоровье! Ты прав, ты совершенно прав, нам незачем было вести тебя в ту комнату! Я был против! Но вот за Урхо Калева Кекконена мы должны выпить!

И он повел его, затаскивая в лифт, в стальную просторную кабину со стальными могучими дверями, смыкавшимися тяжело и непреклонно.

Они очутились в холле отеля. В просторном, как улица в торговой части города. Тут было все. Был бар, были магазинчики, была тут даже рулетка, небольшой стол, из таких, какие устанавливаются в барах океанских лайнеров. Не Монте-Карло, а все-таки рулетка, а

все-таки можно и здесь пополировать кровь, рискнув сотней-другой марок. Рыжебородому обязательно захотелось рискнуть. Завелся человек. Финны, если уж заведутся, их трудно остановить. Рискнул и сразу же просадил все жетоны, купленные им на сто марок. Купил несколько жетонов и он. Помнится, купил, чтобы отделаться от рыжебородого, настаивавшего, напивавшего, как все пьяные люди. Поставил, не думая о выигрыше, лишь бы отвязаться. Поставил на самую ненавистную для себя цифру одиннадцать. Он почему-то ненавидел эту цифру. Рулетка была пущена, шарик поскакал, заметался и вкатился в лунку с цифрой одиннадцать. Выиграл! Рыжебородый был просто счастлив. Он ликовал, кричал, вскидывая руки, хохотал. Их обступили. И снова он небрежно поставил на ту же ненавистную цифру одиннадцать, только чтобы отделаться. Шарик поскакал, заметался, совсем лениво покатился и снова закатился в лунку с цифрой одиннадцать. Это было невероятно! Целая груда жетонов перешла к нему. Но не он обрадовался, а рыжебородый. Этот ликовал. И уже толпа порядочная ротозеев собралась. Надо было уходить. Это было инстинктивным у него, когда надо было уходить. Жаль, инстинкт этот, наука эта сработала тогда чуток с запозданием. Да, жаль...

Наутро его зачем-то вызвал к себе Посол. Так, какая-то маленькая понадобилась ему информация. Спросил, как ему тут живется, не скучно ли в строгом Хельсинки после шумного Каира? Поулыбались друг другу, пошутили. Посол был из очень славных, симпатичнейший. Прошел войну от звонка до звонка, но не казался старым. Был сухощав, спортивен. Лицо явно примонголенное, он был из Сибири родом.

Вот и все. Да, вот и все, что вернула ему память, здесь поговорив с ним, в этой комнате, где было трудно дышать, потому что за окнами свирепствовал ураган, иссушив и без того сухой воздух. Вот и все...

Да, а еще через два-три дня его снова вызвали в посольство и уже не Посол, а советник по культуре, милейший тоже парень, добрый приятель и тоже из МГИМО, сухогато уведомил его, - на службе суховатость уместна, - что его отзывают срочно в Москву.

Ну и что?.. Он тогда не придал этому значения... И прав был. В Москве его долго не продержали. Вскоре он снова очутился на своем Ближнем Востоке.

Вот и все. Ветер за окнами неистовствовал, в смертельную загоняя тоску.

21

Маленький вертолет, скользя по барханам диковинной тенью, низко шел над песками. После вчерашнего урагана, вздыбившего тут все, до неба подкинувшего смерчевые столбы, пустыня отдыхала, ее парило, она наново укладывала свои барханные морщины, громадные шары верблюжьей колючки неприкаянно замерли, не ведая, куда их занесло. Вахтовый вертолет, добытый Мередом у нефтяников, придерживаясь курса асфальтовой дороги, но идя сбоку, заскакывая тенью в пески, был так обычен тут, что верблюды, пасшиеся у шоссе, даже голов не поднимали, не шарахались от странной, несущейся тени, вообще считали эту неуклюжую, громадную и очень шумную птицу вполне своим существом. Меред не обманул, обещая, что можно будет почти касаться рукой спин верблюдов, так низко пойдет вертолет. Верно, совсем низко вел молоденький, азартный пилот машину, все можно было разглядеть на коричневой равнине песка, всякую малую тропку, насвежо проложенную каким-то трепетным, мелькающим существом, тушканчиком, может быть, ящерицей, а может быть, и змеей. Пустыня жила своей жизнью, давно приняв вертолет вместе с его тенью и яростным шумом мотора с посвистом лопастей в свой мир. В свой мир были приняты и вшагнувшие в пески буровые вышки, то тут, то там выглядывавшие из-за барханов. В свой мир уже начинали

принимать здесь бесконечный протяг из труб, укладываемых в траншею, извивистую, как змея, если только возможны многокилометровые змеи.

Меред забыл о своих спутниках, он приткнулся к окну, отодвинул стекло, ветер сразу же слезы высек из его глаз, но Меред смотрел, смотрел, чуть что не вываливаясь в окно, и что-то кричал, безмерно счастливый, кричал или пел, ветер сминал его слова, сносил звук, закручивал в общий рокот и посвист мотора и лопастей. Меред был счастлив. Он, наверное, все же пел, а не кричал, он пел от счастья, переполнявшего его. Трубы, трубы тянулись через пустыню, трубы, по которым совсем скоро пойдет вода. Вода! Он пел, конечно же, а не кричал. И если можно бы было разобрать в вертолетном треске слова его песни, то это были бы слова о воде, о чуде, которое сотворит вода в этих бесплодных песках, о счастье его, Мереду, что он дождался до этих дней, когда снова пришла сюда вода, на бесплодную эту землю, но некогда плодоносную.

- Вот он, счастливый человек! - громко, чтобы пересилить шум мотора, сказал Самохин, кивнув Знаменскому на Мереду. И все так же громко продолжил: - Я задумываюсь, там ли я искал свое счастье в жизни?! Все чаще задумываюсь!.. Дурно спали эту ночь?! А я так и совсем не спал! Думал, не тайфун ли какой-нибудь накинулся на Красноводск! Страшная штука, эти тайфуны! Не довелось испытать?! А я, знаете ли, два года прослужил в консульстве на Яве! Рай, просто рай, а не земля! Но тайфуны!.. Никакого рая не захочешь, когда ветерок начинает дуть со скоростью в двести километров! Все сносит! Дома летают в воздухе! И самое страшное, что необъяснимый схватывает тебя страх! Ну, просто свихиваешься от страха! Именно, необъяснимый страх, то есть человек не может сам себе объяснить, что происходит! Мозг отказывается понять! Оттого и ужас! Подобное же состояние испытываешь, когда начинается землетрясение! Не доводилось испытать?! Теперь испытаете! В сейсмическую зону переселились! А я разок попал! Господи, это даже страшнее страха, страшнее тайфуна! В Японии тогда служил, представлял в Иокогаме! Перепугался, знаете ли, на всю жизнь! - Он говорил, выкрикивал, о чем-то страшном выкрикивал, но губы у него благодушно шевелились, он был доволен чем-то, в хорошем, благодушном пребывании. Похоже, разглагольствуя сейчас, он тоже пел, это его была песня, исторгшаяся из души, возникшая из чувства полета, из радости полета, тоже, видимо, совершенно необъяснимого чувства.

А вот Знаменский так и не выбрался из вчерашней тоски. Не летелось ему сейчас, не смотрелось на диво пустыни, диво труб, которые вот-вот грянут тут водой, на семь веков покинувшей эти места.

- Ростик, дорогой, смотри, белый верблюжонок! - обернул к нему сияющее лицо Меред. - Это к счастью! Хорошая примета! Хорошим пловом нас будут встречать! - И он опять усунулся в окно, опять завопил свою песню счастья.

Короткая остановка в Небит-Даге, где вертолет заправился горючим для трехсоткилометровой броски к Кара-Кале. На площадке, под навесом, уже ждал их стол, так щедро заваленный дынями и многоцветным виноградом, что чудо земных этих даров перестало казаться чудом, становясь обыкновенностью. Столько было всего, что ни к чему уже не тянулась рука. И это заметил мудрый и хорошо себя нынче чувствовавший старик.

- Замечали, Ростислав Юрьевич, когда столь щедр стол, то и азарта нет вкушать от щедрот? - сказал Самохин. - Человеку необходимо создать ситуацию, когда бы он мог пожадничать. Скорей, скорей чтобы схватить! Самый лучший кусок!

Но тут ему на отдельном столике вынесли графин с чалом, и милая, очень смущающаяся девушка, вся увешанная старинными украшениями из серебра, в шапочке в серебряных бляшках, в длинном синем платье до пят, вся сокрытая да еще и лицо почти сокрыв согнутой в локте рукой, вдруг так глянула на старика, блеснув глазами и зубами, что он замер, осекся и

влюбился.

- Остаюсь! - шепнул он, тараща глаза. И остался бы, ей-богу, шутка уже не шутка, когда такие сверкнули глаза, но сморгнул, глянул, а девушки уже нет, только столик с мутным чаем в графине стоял перед ним, да пиалушка зеленая ждала, когда он ее наполнит. И все вспомнилось, нефрит вспомнился, отлетела радость.

Встречавшие, солидные, хотя и молодые хозяева города, уговаривали Самохина остаться на часок, поглядеть город, который был просто замечательным, ведь он же возник в пустыне, а вон теперь какие тут дома, какие прижились деревья, но Самохин был непреклонен. Он отхлебнул чаю и заспешил.

- Город ваш замечательный, согласен, но он не войдет в зону туризма, сказал Самохин. - Посмотрим с воздуха. Нам надо засветло попасть в сухие субтропики, в Кара-Калу. Как-нибудь в другой раз...

Знаменский отошел чуть в сторону, отстранился от разговора, да его никто и не уговаривал остаться, про него сразу тут поняли, что он не более как сопровождающее лицо. Либо поняли, догадались, - догадливый народ эти молодые градоправители, - либо заранее были извещены о нем, как извещен был Меред, зона-то приграничная, тут каждый человек учтен и примечен. А он так и держался, как сопровождающий, хоть на шаг да позади Самохина. А сейчас и просто отошел в сторонку, сойдя с асфальтовой полосы, мягкой, почти вязкой, сразу же ступив в пустыню, в пески, в барханную до горизонта рябь. Тут вокруг все было резко обозначено, резко поделено. Вот - новое, вот - старое, вернее, древнее, просто даже библейское, добиблейское, существовавшее в миг сотворения мира. Тогда именно так и было. Убийственно пекло солнце, на которое невозможно было поднять глаза, до горизонта тянулись застывшими волнами барханы, неподвижными казались в далеком мареве верблюды, эти странники вечности, но тут, если на тысячелетия мерить, еще недавние пришельцы. Несколько бетонных плит вертолетной площадки, домик из сырца с оплавленной крышей, потекшей гудроном, какие-то чахлые деревца с железными листочками, изнемогшие машины, сбежавшиеся под незримую тень домика и деревьев, люди у столика с плодами и сосудами - это все было нереальным тут, странным, принесенным лишь на миг каким-то причудой-ветром, чтобы через миг и сгинуть. Реальным, навечным тут были барханы, зной, эти верблюды, парящие в мареве.

К Знаменскому, возникнув ниоткуда, как шар из колючек, подкатился старик в черном халате и узорчатой черно-белой тибетейке. Нет, это был не старик. Крепкозубым оказался, когда разжал тонкие губы. И просверлили Знаменского зоркие, узкими щелочками, глаза. Подкатился, уставился, сверкнул узко зубами, спросил тонким голосом, странно-распевно произнося русские слова:

- Зачем приехал? Песок считать?

- Сопровождаю, - сказал Знаменский.

- Этот больной бурдюк? - сверкнул белесой полоской зубов человек в тибетейке.

- Не понял. - Знаменский решил повернуться к тибетейке спиной, но не повернулся. Глаза из-под тибетейки - удержали. Была в их взгляде-дуплете сила, наглая, бесцеремонная, вязали движения эти буравящие глаза.

- Прикрывает тебя, так?

- Не понял.

- Я понял. Его туша, а твои глаза и уши. Иди, зовут. Ты из Москвы?

Знаменский промолчал, медленно, трудно, как если бы отдирали от плеч что-то липкое, как мы во сне отдираем, освобождаясь от настырных глаз.

- Не пожалели человека, пригнали к нам в такую жару! А в Москве сейчас прохлада! Вах, не жалеют у нас людей! - Голос за спиной глумился, истончаясь, язвил, человек в тубетейке шел по пятам. И вдруг умолк, едва Знаменский ступил на бетон вертолетной площадки. Знаменский оглянулся. За спиной тянулись барханы, плыли в мареве верблюды, будто свершая очень торжественный танец, и не было никакого человека в тубетейке. Нырнул, должно быть, в ряды встречающих, растворился.

И вот они снова в воздухе, и помрачневший Самохин печально смотрит на проносящуюся рядом с вертолетной тенью землю, на этих игрушечных славных верблюдов, таких тут красивых, созвучных с пустыней, и прощается, прощается со всем этим миром окрест, понимая, все время помня свою беду и понимая, что другого-то раза уже не будет.

Слева открылись холмы и предгорья Копетдага. Все вверх и вверх идущие гряды. Где уже выжелтившиеся холмы, где черновато-коричневые скалы, где убереженные от солнца глубокие темно-зеленые расщелины, где, если совсем вверх глянуть, снежные, избывающие тайнички, - загадочный и влекущий мир.

- А знаешь, Ростик, дорогой, - снова обернулся от окна Меред, - а у нас тут в горах страшные бандиты прячутся! Сбегают сюда от правосудия! Месяцами живут, грабя чабанов! Попробуй, отыщи их тут! Ну, конечно, в конце концов их ловят. Я бы тоже сбежал сюда, если бы был бандитом! - Он снова усунулся в окно, но лицо его успело опечалиться, песню горланить он не стал.

В Кара-Кале, на крошечном вертолетном аэродроме, прильнувшем к крутящейся, обмелевшей горной речке, их встречал маленький, пряменький летчик с большими усами. С Мередом он обнялся. Они потоптались немного, стараясь один другого приподнять от избытка чувств. Меред был куда потяжелее летчика, но летная сила одержала верх, и маленький летчик по-борцовски, изловчившись, высоко поднял круглого Мереду, а потом мягко, нежно опустил на землю. С гостями летчик поздоровался по-военному сдержанно: отдал честь Самохину, чуть кивнул Знаменскому.

- Добро пожаловать, - сказал он и, будто усомнившись, что его поняли, перевел: - Салам алейкум.

Дорога в город была дорогой через сад, где рожи миндалевых и фисташковых деревьев сменяли аккуратные ряды виноградников, а потом шли высокие стволы ореховых деревьев с зелеными, еще на себя не похожими грецкими орехами, а потом шли яблоневые сады, но везде, вперемешку, стояли гранатовые невысокие круглокронные деревья, тоже пока не с красными, а с розоватыми плодами. Вдали начинались горные гряды, вблизи то появлялась, то исчезала речка, шурша водой по каменистому, обмелевшему руслу. И небо тут было не пустым, не казалось яростным зевом раскаленной печи, а бежали по нему легкие облака, похожие на многоголовую отару.

- Вот это вот для туристов местечко! - сказал Самохин и грустно огляделся. - Рай...

Быстро промелькнули одноэтажные дома городка, загороженные ветвями, а потому загадочные, мелькнули и два-три дома из стекла и бетона, которых деревья не могли загородить, а потому эти дома показались тут голыми, не к месту, случайно забредшими. Машина, а они ехали на вездеходе, а еще один вездеход их сопровождал, что говорило не столько об уважении к приехавшим, сколько о повседневности забот этого райского уголка, столь близко отстоящего от государственной границы, машина их въехала в ворота, открывшиеся, покотившиеся на колесиках, и очутилась в квадрате двора, где все было четко расставлено. Справа стояло большое сливовое дерево, слева пяток старых яблонь, очень

ухоженных, белоствольных, а прямо, позади круглой клумбы с российскими анютиными глазками, вытянулся белый одноэтажный дом с веселенькими занавесочками на окнах.

- Дом для почетных гостей, - сказал усатый летчик. - Имеется душ, в комнатах работают вентиляторы, сторож или его жена приготовят вам чай, кипятилок тут круглосуточно, в столовой вам накрыт стол, а вам, - он глянул на Самохина, - подготовлен чал. Отдыхайте. Через два часа я заеду за вами, покажу наши достопримечательности, а потом повезу во Дворец культуры. Соберется городской актив. Ждем от вас, товарищ Самохин, рассказа о перспективах нашего края, желательно, чтобы вы и о международном положении нам рассказали, поскольку ваш опыт Чрезвычайного и Полномочного Посланника для нас будет очень интересен. - Летчик, произнося звание Самохина, с большой буквы обозначил каждое слово, уважительно и строго глядя на старика. Говорил летчик очень чисто по-русски, но жил в его русском акцент, свой распев был, который отличался от акцента Мереди, мягче, легче текли слова, пусть даже официальные и казенные.

- Вы не туркмен? - спросил Самохин.

- Азербайджанец, товарищ Посланник.

- Да не зовите меня Посланником, - слабо запротестовал Самохин, легонько отмахнувшись рукой, будто отмахивался от былого, но не очень настойчиво, поскольку жизнь-то у него в былом была, а не в нынешнем дне. Кстати, о международном положении мог бы лучше меня поведать мой спутник Ростислав Юрьевич Знаменский. Он международник по профессии.

- Да, да... - Летчик коротко глянул на Знаменского и отвел глаза. - Мы ждем вашего доклада, товарищ Самохин. - Он козырнул, легко выпрыгнул из машины и снова козырнул, когда Самохин ступил на землю. Этот почет был адресован только ему, Знаменского летчик просто не замечал.

- Меред, - сказал летчик. - Я поехал, хозяйничай. Но помни заповедь аллаха!

- Угощающий, дорогой, да разделит трапезу с гостем! - живо отозвался Меред. - Ты про это? Пусть Посланник и Докладчик пьют свой чал, а мы, презренные, можем и нарушить одну из сур Корана. Кто с нас взыщет, с презреннейших? Кстати, Ибрагим Мехти оглы Мамедов! Смотрю, большим ты начальником стал! Официальным стал!

Летчик чуть усмехнулся диковатыми, зоркими глазками, вскочил в машину, по-военному указал протянутой рукой маршрут. Машина рванулась, развернулась, выскочила за ворота. Машина сопровождения - следом. И ворота покатались на колесиках, смыкая железные створы.

22

Неведомо, какие у этого городка были достопримечательности, а вот семья сторожа при доме для почетных гостей, вот она была достопримечательной. Она состояла из главы семьи, пожилого туркмена, громаднорукого и очень уж подсушенного солнцем, из его супруги, в отличие от мужа тучноватой, но с молодым и даже пригожим лицом, которое эта женщина не прятала ни за платком и ни за локтем, потому что ей было некогда заниматься игрой в прятки, а некогда ей было блюсти обычай, потому что у нее было до дюжины ребятишек, погодков, видимо, самым старшим из которых было лет четырнадцать тринадцать, а самый младший еще покоился на материнских руках. Вот эти ребятишки и были достопримечательностью. Они как раз отправились с матерью по каким-то делам в город. Все, весь выводок. Мать шла

впереди, плавная, горделивая, по-балетному ставя ноги в мягких чувяках, будто чуть-чуть она пританцовывала, и самый маленький спал у нее на руках, покачивая черной головкой в такт материнским шагам. Мать шла впереди, ничуть не заботясь об остальной своей детворе. Пройдя через калитку, она пошла по узкой дорожке и даже ни разу не оглянулась. Знаменский, которому не отдыхалось, давно уже бродил за воротами, хмурый и оскорбленный, обиженный летчиком, хотя вполне можно было понять летчика, если учесть, что тут, на границе, все, кому следовало, о нем уже всё знали. Ясное дело, трудно было предположить, что его попросят выступить перед местным активом. Спасибо, что вообще пустили сюда, в приграничный город. Все так, но обида не рассуждает, она гложет душу. И Знаменский, покинув Самохина, подсевшего к своему чалу, покинув Мереду, который принялся было его уверять, что этот Ибрагим Мехти оглы славный парень и что не следует на него обижаться, вышел из дома, вышел за железные ворота, побрел по улочке, без цели, отгоняя мысли, не замечая жары. И вот ступила за ворота эта мать-героиня. Да, на бархатном фиолетовом жилете, который она надела поверх красного до пят платья, среди обычных украшений туркменки, множества всяких бляшек и кругляшек из серебра, еще посверкивала золотом звездочка материнского геройства. Вышла на улицу мать, и потянулись следом ее ребяташки. И на них-то и загляделся Знаменский. Нельзя было не заглядеться. Один за другим, один за другим, вытянувшись в цепочку, шли дети. Старший вел младшего, младший еще более младшего и так по нисходящей до замыкающего, который едва ковылял, едва поспевал, года два ему было, но все же не отставал, подтягиваемый ведомым, которому было года три, которого подтягивала девочка лет четырех. В том-то и суть была всего этого шествия братьев и сестер, что они подтягивали друг друга, помогали друг другу и каждый отвечал за младшего, у каждого или каждой был свой подопечный. И так до нисходящего. За нисходящим медленно выступала большая собака неведомой породы, рыжая и хмурая. Страж! А мать ни разу не оглянулась. Она плыла, легко, по-балетному переступая, хоть и тучновата была, гордо шла и ни разу не оглянулась, веря своим ребятам, доверяя каждому каждого.

Знаменский смотрел на это шествие и оттаивал. Обмелела в нем обида. И вдруг сказалось вслух:

- Все правильно... Все правильно...

Вскоре подкатил на могучем вездеходе маленький летчик с большими усами и повез их удивлять.

Сперва он привез их к берегу горной речки, которая из последних сил добывала и подносила воду этой долине, и все, что росло тут, пышно, ярко и плодоносно, - все было обязано этой речке, ее неустанности, ее высокому чувству служения. Она казалась живым существом, так напрягалась, так пробивалась через преграды, из камней, так вдруг радостно принималась звенеть своими ручейками, упорными, живыми.

- Сумбар! - уважительно произнес летчик. - Ее и на подробной карте не всегда найдешь. Но эта река настоящий друг. Я, когда падаю духом, хожу к ней, стою вот тут на берегу. Нет ничего выше друга.

- А ты, оказывается, иногда падаешь духом? - спросил Меред.

- Слушай, куда судьба загнала? Это не моя земля, это твоя земля. Почему, скажи, я должен учить людей летать в этом небе?

- Плохо тебе здесь? Ассом стал. Усы отрастил.

- Слушай, кому тут нужны мои усы? Ваши женщины смотрят на таких круглолицых, курносых и безусых, как ты. Что за вкус?! Но женщины странный народ.

- О вкусах не спорят, дорогой, - сказал Меред. - Ты в стране иомудов. Да, мы курносые. Но ты зря завидуешь мне. Я тоже иногда хочу постоять на берегу этой речки.

Друзья шутили, лукавые их глазки посмеивались, но рядом жила река, в трудной, упорной, непрерывной пребывая работе, но рядом были горы, иные, чем в Ашхабаде, потому что действительно были рядом, а те, там, были далекими и лишь казались близкими, и рядом была граница, но вокруг, обступая, стояли из рая деревья, гранатовые, миндалевые, фисташковые, но где-то по соседней улице шли сейчас, растянувшись вереницей, взявшись за руки, двенадцать ребятишек, а впереди шла мать, а позади шла собака-сторож - и все это было столь серьезно, величественно и извечно, что и в шутливых словах двух приятелей чудилась Знаменскому какая-то притчевая значительность, хотя все дело, наверное, было не в словах, не в людях, не в мире окрест, а в нем самом, в той короткой и строгой мысли, которая пронзила его: "Все правильно... Все правильно..."

Следующей достопримечательностью, куда летчик привез их, была опытная станция Всесоюзного института растениеводства. Еще в машине летчик начал читать лекцию, важничая и топорща усы.

- Этой станции больше пятидесяти лет, - сообщил он. Основана русской женщиной. Художницей, представьте. Приехала на этюды сюда и осталась. И поменяла судьбу. Замечательная, изумительная женщина. Я упросил ее, она вас примет.

- Почему же надо было упрашивать? - обиделся Самохин. Был он молчалив и сосредоточен, видно, загодя готовился к своему выступлению перед активом города. И на реке и в машине по пути на станцию он то и дело вскидывал голову, чему-то величественному улыбался, руки вдруг разводил. Наверняка уже толкал свою речь, пока безмолвную, репетировал.

- Она у нас очень занятой человек, - сказал Меред. - Простим ее, она не очень одобрительно встречает всякие делегации, особенно туристов. Но простим ее, она вырастила более шестисот сортов опытного, сортового винограда. Под ее руководством тут ведется громадная работа по отбору, акклиматизации и селекции новых субтропических культур.

- Ты будешь говорить или я буду говорить? - теперь обиделся летчик.

- Я буду говорить, дорогой Ибрагим Мехти оглы, - сказал Меред, вытянутой ладонью отстраняя возражения. - Это моя земля!

- Но я над ней летаю. Я ближе к аллаху!

- Но я здесь родился. И тоже, когда служил в армии, охранял ее.

- Главным образом, полагаю, на гауптвахте.

- Угадал. Туркмены, дорогой, плохие солдаты, но они хорошие воины. Так вот... Здесь создана коллекция плодовых растений, насчитывающая сотни сортов винограда, слив, абрикосов, алычи, яблонь, груш, вишен, черешен... - Меред прервал рассказ. - Мы это все попробуем, друзья! Да... И здесь выращиваются субтропические плодовые культуры, только на этой земле, и учтите, на туркменской земле. Перечисли эти культуры, Ибрагим Мехти оглы, разрешаю.

- Что, слюна мешает говорить? Хорошо, я выручу тебя. Вот перечень субтропических плодовых, которые родит земля моего друга Мерета. Это инжир, гранат, маслины, хурма, фисташки, миндаль, финики, да, да, финики! Что еще? А, грецкий орех, который падает с дерева прямо вам на голову.

- И часто раскалывается от этого прикосновения, - сказал Меред. - И падает на ладонь уже в

раскрытом виде. Ешь не хочу!

- Но далеко не всякая голова умеет раскалывать грецкий орех, - сказал летчик. - Тут нужна круглая голова, с короткой стрижкой.

- Намекаешь, дорогой?

- Намекаю, дорогой.

Ехали-ехали, в какие-то неказистые ворота въехали и вдруг очутились в тенистой аллее, нет, на дороге в лесу, но только лес этот был из могучих ореховых деревьев, в ветвях которых нависли в зеленых еще пока чехлах орехи. Машина ехала, ехала, сворачивала, и всякий раз, за каждым поворотом открывались глазам все новые уголки сказочного леса - миндалевого, фисташкового, яблоневого, алычового...

Но вот машина остановилась. Дальше пошли пешком, входя в неоглядные ряды и дали виноградников. Целые улицы виноградных лоз. Многоцветные улицы, а были и одноцветные. Одна улица - фиолетовая, другая - зеленая в желтизну, третья - розовая, четвертая - почти красная. А на маленькой, строго круглой площадке, куда сходились многие из этих улиц и где стояла водоразливная колонка, изливавшаяся тонкой струей, их ждал стол, обыкновенный дощатый стол, на котором слились гроздьями все сорта, все цвета виноградные и над которым прозрачной синевой подернулся воздух, мускатным пронизанный ароматом. И еще был тут стол, где горками виселись миндаль, фисташки и орехи из прошлогоднего урожая. Возле этих столов на брезентовом раскладном стульчике сидела старая, грузная женщина, в кофте навывпуск, в стародавней, из бывшего, панаме, с вычерневшимся от старости янтарным ожерельем на шее, с уставшими руками, покоящимися на коленях. Сюда бы кустик крыжовника, сюда бы ей за спину вишенку, заборчик из старых досок, заросший малиной, сюда бы одну-единственную хотя бы старую березу с их дачного участка, и поверил бы Знаменский, что его мать тут сидит, кинулся бы к ней, поверив бы в чудо, что вот очутилась здесь. Он и шагнул к этой женщине порывисто. Она подняла на него усталые, умные глаза. Всмотрелась, покивала ему.

- Вы похожи на мою мать, - сказал Знаменский, склоняясь, целуя ей руку, тяжелую, рабочую руку садовника.

- Мне рассказывали о тебе, - сказала старая женщина совсем негромко, чтобы только он услышал. - Не горюй. Я тоже была несчастлива, когда очутилась на этой земле. Неприкаянной была. Этюдики? Что этюдики?! Все мы что-то там такое изначальное рисуем в жизни. Но рисует-то жизнь... - Она поднялась. - Ну что ж, друзья, добро пожаловать в туркменские субтропики. Вот они у нас какие... Пошли, покажу вам совсем новые сорта, кара-калинские, одному я уж и имя, кажется, нашла: "Этюд"... - И пошла, трудно ступая, но и привычно ступая по взрыхленной, бугристой земле между виноградными шпалерами.

Знаменский не пошел вместе со всеми, остался тут, чтобы побыть одному. Снова пришли к нему эти слова, эта пронзительная мысль, как боль, вырвавшаяся вслух. Он и сейчас их произнес вслух:

- Все правильно... Все правильно...

А потом был серпентарий, знаменитый на весь Советский Союз змеепитомник, про который и в "Правде" писали, и по телевидению его показывали. Знаменский вспомнил эту передачу "В мире животных", бывая в Москве, он старался не пропускать эту передачу, ему симпатичны были ведущие ее люди, искренне влюбленные в своих зверей и зверушек, а он-то знал, что искренность не наиграешь по телевизору. Так-то оно так, но он-то, выступая, был искренен, ему говорили, что он располагал к себе, внушал доверие, а он вот где очутился со своей искренностью.

Прославленный глава змеепитомника, смелоликий, явно ковбойского облика, если судить по вестернам, русский с проседью мужчина лет сорока, был откровенно не рад очередным визитерам. Похоже, наскучила ему эта слава, как наскучивает она герою бесконечного сериала, которому и по улице уже нельзя пройти неузнанному. Он был томен, загадочен, молчалив и даже слегка грубоват, счастливо не ведая, что один к одному подражает киногероям, что суровость его от позы, а не от природы.

Ну, показал он свое хозяйство, вольеры, в которых сейчас змей не было, они сейчас в пустыне пребывали, в естественном, так сказать, своем регионе. Их там осенью и отловят опять, вернут в неволю, "доить" начнут, выкачивая из-под зубов крошечные капельки яда, целительного, но и смертельного, смотря как им распорядиться. Словом, некая ферма, где и дойка, и выпас, и отгон, и пригон стада. Ну, рассказал, что стадо-то отлавливать всякий раз надо со страхом в сердце, не простое это дело, потери каждый год случаются, то одного, то двух змееловов, бесстрашных парней, между прочим, терять приходится, но привыкли они тут, такая работа, так что вот и все о себе, граждане ротозеи. Да, а еще показал пяток змей, трех гюрз и двух кобр, которые еще оставались в питомнике. Под занавес был продемонстрирован коронный здесь номер. Он вынес в руках громадную кобру, близко к себе неся, вровень были их головы, его, прославленного смельчака, и кобры, прославленной убийцы. Тут полагалось всем ротозеям-визитерам ужаснуться, шарахнуться и проникнуться почтительным уважением перед таким бесстрашием. Но на сей раз вышла осечка с этим номером. Знаменский знал, много раз в своих поездках по Востоку наблюдая подобные сценки, что кобра не ударит, если не раздуты ее щеки, что эта змея страшна, но прямодушна, что ли, и она предупреждает своих врагов, мол, "иду на вы!" раздутием щек. Он подошел к змеелову, горделиво несшему кобру, встал рядом, убедившись, что кобра не зла, не раздувается, встал совсем рядом, лицом еще ближе придвинувшись к кобре, чем сам прославленный змеелов. Рисковал, конечно. Но он и любил риск. Он сейчас себя вспомнил недавнего, озорство в нем разыграло. Противен он был себе, притихший. Сейчас он себе хоть на миг да понравился, сам себе вспомнился. И радостно стало от этих возгласов испуганных и Самохина, и Мереда, даже и самолюбивого усатого летчика. Он демонстрировал себя, чуть сверх меры подзадержавшись лицом к лицу с коброй, которая, похоже, начала просыпаться. Но змеелов лица не отводил, не отводил и Знаменский. Глаза в глаза встретились. Один все знал про змей, и змея была у него в руках, он ее чувствовал, дрожь ее тела нарастающую осязал, а другой почти ничего не знал про змей, на восточных базарах их наблюдал, ну, в таких же вот змеепитомниках, он не знал змей, он вступал в зону серьезного риска, но ему и важно было побыть в этой зоне, где оживало в нем самоуважение, где он просыпаться начинал, как бы выбираясь из слишком затянувшегося кошмара. Глаза в глаза стояли эти двое, а между ними слабо покачивала прекрасной, грозной головой кобра, в миг один могущая убить. Первым опомнился змеелов. В конце концов, это был для него всего лишь спектакль. Ну, нашелся человек, либо знающий змеиные повадки, либо просто глупый, пижон, так сказать, из тех, что лезут, не зная брода. Змеелов опомнился и даже подыграл Знаменскому, испуганно крутанув змеиное тело, ловко упрятав змею в холщовый мешок, который висел у него на поясе. Он все это проделал с мастерством фокусника, но делая испуганные глаза. Он даже одарил Знаменского восхищенной улыбкой, похвалив:

- Ну, парень! - Спросил тихонько: - Знаешь или сдуру? Укус кобры в лицо никакими препаратами не снять. Это - смерть. - Знаменский отозвался ему такой своей самой из самых улыбкой, так радостно ему сейчас было, легко, мальчишески легко, что змеелов смягчился, позабыл про скуку и важность, по-мужски принял этого пижона в свой суровый мирок. Он сказал, как одарил:

- Поступай к нам, парень. Возьмем.

- Может, и поступлю, - сказал Знаменский. - Не исключено.

К ним осторожно приблизился Самохин.

- Что за номера, Ростислав Юрьевич? - недовольно спросил он. Недоставало мне еще отвечать за укушенного зятя.

Отомстил старик! Напомнил! Трудно ему было стерпеть, что вот такое возможно молодечество в поверженном и униженном. Совсем не из худших стариков старик, но трудно уступать лидерство, наблюдать, как кем-то при тебе восхищаются, кем-то, кто в явном подчинении у тебя, да еще и в опале. Старость охотнее привечает неудачливых из молодых. Старость любит пожалеть, недолюбливает азартных. Азарт - ведь это молодость, жизнестойкость, когда ни тебе нефрита, ни тебе цирроза и всяких там инфарктов миокарды.

Но и молодые, Меред и усатый маленький летчик, но и они отчего-то опечалились. Позавидовали его безрассудству? Может быть, может быть... Смелость почти всегда сродни с безрассудством, но потому и пленительна.

- Скажи, дорогой, ты знал, что к кобре можно подойти, когда она не надулась? - стал допытывать Меред. - Опыт был? Обучил Восток?

Знаменский молчал, улыбался.

- Опыт опытом, а и я струхнул, - сказал знаменитый змеелов, страшно довольный, что может поддержать этого парня, этого приезжего, который, похоже, сильно досадил Мереду и летчику, здешним мужикам, многое знавшим про змей, но струхнувшим вот. - Интуиция у человека, я так думаю. Серьезно зову, переходи к нам. Много наперво не обещаю, а три куса за сезон возьмешь. И гуляй потом! Хоть в Сочи, хоть в Ялте! Змееловом быть - нужна смелость. Наш талант - смелость. А смелость от интуиции, я так думаю. Авиатор, я верно рассуждаю?

- Верно, но только отчасти, - сказал летчик. - Интуиция нужна, конечно. Обязательна! Но, как говорит наш начальник, информация мать интуиции. Поехали, друзья! Интуиция, но прежде всего мои наручные часы мне подсказывают, что народ уже собрался во Дворце культуры, что вас уже ждут, товарищ Самохин!

Прощаясь, глаза в глаза снова встретились Знаменский и змеелов.

- Что, в черной полосе обретаешься? - спросил змеелов.

- Угадал, - сказал Знаменский. Этот змеелов ему начал нравиться, да он сейчас и не актерствовал, он сочувствовал.

- А то оставайся, от души говорю. Ну их!

- Не могу.

- Понял. Если что, приезжай. Анкеты у меня не заполняют, у нас в пески идут, с уловочкой и мешочком холщовым. Простое дело. А?!

Они постояли, крепко тиская руки, - у змеелова рука была в грубых, рваных шрамах, - покивали друг другу и расстались, довольные друг другом.

На Посланника во Дворце культуры собрался весь город. Афиша громадная была вывешена у входа, перечислявшая все былые и нынешние ранги Самохина. У входа, когда подъехали,

толпился народ, чтобы встретить важного и знаменитого гостя. Это были юные девушки, тюльпанами платьев расцветившие скучные ступени Дома культуры, вот только теперь, когда сошлись сюда эти девушки, ставшего напоминать дворец. Сюда приехали и пограничники, в черноту загоревшие, в своих забавных зеленых панамках, такие сильные и прочные парни, служившие на такой границе, где служба особенно трудна и строга. И они были взведенными, как боевые курки. Даже ухаживали они за девушками-тюльпанами как-то порывисто, дерзко. Взглядывали-поглядывали, все в миг умея углядеть, хотя девушки клонили под этими взглядами головки, укрывали согнутыми локтями лица. Так поступали тут и русские девушки, переняв обычай, который был обычаем и их прабабок, он им, нынешним, здесь пригодился. На этих из бетона ступенях древнее возрождалось кокетство, древняя же и повадка вернулась - молниеносно приглядывать себе невест.

Важный Самохин проследовал во дворец, а Знаменский не пошел туда. Его и не позвали. Он остался в толпе молодых. Девушки украдкой поглядывали на него, решая, молодой он еще или уже старый. Тот отсвет азарта, когда близко придвинулся к кобре, еще жил в его глазах, и девушки углядели этот блеск, решили, что он все же молодой еще. Он понял, что он им стал интересен. А зоркие, взведенные парни тоже свое про него поняли, прикинув на всякий случай, как его побыстрее скрутить и кинуть, если что. Кажется, и парни решили, что он все же сразу не даст себя скрутить и кинуть. Он понял это по несгасшему интересу в их ястребиных глазах. Хорошо ему стало в этой молодой толпе. Здесь и воздух был особенный.

Но тут задребезжал звонок, совсем по-школьному, и парни и девушки, вчерашние ведь школьники и школьницы, кинулись в дом.

Знаменский остался один на площадке перед Домом культуры. Наскочил с гор ветерок, снес в сторону фисташковую шелуху и конфетные бумажки, унес, отнял у него и этот воздух молодой. Одиноко стало. Обида вернулась. Томящая вернулась безысходность.

- Зачем здесь стоять? - На ступенях появился маленький усатый летчик. Он четко отщелкал каблуками по ступеням, он все делал четко и встал перед Знаменским, вскинув голову, чтобы в глаза ему заглянуть. - Я тоже решил эту лекцию не слушать. И вашу бы не стал слушать. Почему? А потому, что я сам каждый день себе лекции читаю. Что такое наши мысли, наши размышления? Лекции! Только аудитория не очень большая. Ты - говоришь, ты - слушаешь. Ты - задаешь вопрос, ты - отвечаешь. Ты - объяснял и ничего не понял, ты слушал и тоже ничего не понял. Зачем нам здесь стоять и нюхать пыль? Пошли на Сумбар. - Он не стал ждать согласия Знаменского, твердо взял его под руку, повлек за собой, все вскидывая голову, чтобы видеть глаза очень уж рослого для него собеседника. - Обидел я вас? Зря обижаетесь на такую ерунду. У вас теперь строгая полоса. По трудной тропе идете. Что ни миг, возможен камнепад. Один проскочил, другой проскочил, третий впереди. Тут уж не до комариных укусов, их просто не замечаешь. Все лицо в кровяных насосах, а ты этого не замечаешь, ты на скалы смотришь, на камушки проклятые, не шевельнулся ли какой.

- Очередная лекция? - спросил Знаменский. - Только теперь уж на аудиторию?

- Согласен, говорю, как лекцию читаю. Не умеем мы разговаривать. На поучения все нас тянет. Прости, дорогой.

- Вы кем здесь?

- Так... Вертолетчик. "Орлята учатся летать!.." А я - учу...

- И я вам интересен? Ползающий...

- И вертолетчики, бывает, падают, и тогда... А вот и Сумбар! Слышите, какой воздух?!

- И воздух слышу и тишину учуял.

- Верно, тут тихо, хотя тут шумно, река с камнями разговаривает. Все притираются друг к другу. Век за веком. А что им век - воде и камням? Мгновение! Это мы на земле кратковременные.

- Мотыльки еще кратковременней.

- Да, им еще хуже. Но у них, наверное, другое летосчисление. Час идет за десятилетие. Как знать, возможно, им повеселей живется, а? Вы женаты, Ростислав Юрьевич?

- Да.

- А я все собираюсь. - Летчик извлек из заднего кармана брюк бумажник, раскрыл его, показывая Знаменскому фотографию очень милой и очень глазастой, а она еще и подвела глаза, девушки, бережно укрытой за целлофаном. Нравится?

- Красивая.

- Именно! Боюсь красивых. Не очень им доверяю.

- Что за проблема? Некрасивых куда больше.

- А некрасивая мне не нужна. Прямо какой-то Гамлет перед вами. Поверите? А годы идут. - Летчик все еще держал перед Знаменским свой пухлый бумажник, любовался хорошеньким личиком, даря эту радость и собеседнику. Любуясь и даже чуть-чуть губами причмокивая, он проговорил, как бы между прочим: - Между прочим, маленькая у меня просьба к вам... - Летчик закинул голову, всмотрелся в Знаменского, даже на цыпочки привстал, чтобы ближе поглядеть ему в глаза. - Вот это письмо... - Летчик достал из бумажника конверт. - Прошу вас передать это письмо Аширу Атаеву...

Сумбар шумел, притиралась река к камням. И век назад тут так было, и три века назад. И кто-то кому-то тут когда-то передавал письмо...

- Почему вы решили, что я знаю какого-то Ашира Атаева? - спросил Знаменский, вдруг почувствовав страшную усталость, плечи, ноги заломило от усталости, и грозным стал шум на реке.

- Я не решил, я знаю. - Летчик так и стоял с раскрытым бумажником, но смотрел он не на фотографию смазливой девушки, а на Знаменского смотрел, вскинув голову.

- Откуда сии сведения? - Знаменский глаз не отводил, но ему это разглядывание летчика было в тягость. - И зачем я вам, учителю орлят?

- Не доверяешь? Это хорошо. - Летчик захлопнул бумажник, но письмо зажал между пальцами, письмо вслед за бумажником не спрятал. - Хорошо, что не доверяешь. Тогда послушай еще одну мою лекцию... Какой день все время читаю лекции, хотя и ненавижу это занятие. Итак, тема лекции... - Он снова взял Знаменского под руку, подвел поближе к воде, к шуму речному, он оглянулся разок-другой, сделав это по-звериному как-то, когда глаза оглядываются будто, а не голова, лицо оглядывается будто, а затылок неподвижен. - О наркотиках будет моя лекция, уважаемый...

- Про мак, может быть, про плантации мака? - спросил Знаменский. - Но его в этих местах сеяли и три века назад.

- В этих местах не сеяли, тут не та роза ветров. Мак очень капризное растение, если разводить его не для пирогов с маком, а для извлечения из него опиума. - Летчик снова глянул-оглянулся, застыв затылком.

- Я, поверьте, не наркоман, Ибрагим Мехти оглы.

- Я - тоже. Ашир, между прочим, раза два попробовал. Он любит до всего дойти сам. Отличный парень. Я учился у него самбо.

- Вот и поговорим о самбо. Я тоже, между прочим, занимался самбо.

- Так, как он? Не думаю. У вас сильные руки, но это руки игрока в теннис. У самбиста железные руки. Вы потрогайте мои. Потрогайте, потрогайте. - Летчик вскинул руку, а Знаменский сжал ее пальцами, чтобы отвязаться. Действительно, рука у маленького летчика была как из железа, пальцы ушиблись.

- Да, натренировались, - сказал он. - Учителю орлят и нужно.

- Тут вы правы. Но речь не обо мне. Речь о следователе Ашире Атаевиче Атаеве. Ему сейчас нужны факты, сокрушительные факты. Иначе, без таких фактов, могут подловить, перехватить руку, швырнуть на ковер. Это в спорте, а в жизни... Пример сам Ашир Атаев. Он поторопился, он начал действовать без должной подготовки. Обстоятельства вынудили? Да, конечно. Но кинули его, ударили о землю. Спасибо, что живым остался. И вот теперь, травмированный, он начинает группироваться для нового броска. Может быть, единственного броска. Либо - либо! Факты! Ему нужны факты! Прошу вас, отвезите ему это письмо.

- Лучше бы было поручить это Самохину, - сказал Знаменский. - Он отыскал бы вашего Ашира Атаева, ему это легче сделать, чем мне. Атаев в Ашхабаде живет, как я понимаю?

- А, очень все понимаешь! Молодец! Хорошо вас учили, оказывается, в вашем институте. Молодцы! Ну, ладно, пойдем дальше... Что может знать про мак, про этот скромный аленький мак какой-то тоже скромный вертолетчик, если тем более в этих местах этот мак не произрастает?

- Ничего! - сказал Знаменский.

- Все! - мотнул головой маленький летчик. - Почти все! Конечно, в масштабе моих погон. Но мои погоны, еще чьи-то, еще и еще чьи-то и уложим этими погонами всю карту. И кое-где, совсем кое-где, да и отыщется крошечное поле мака, чтобы можно было его обозначить на карте. Где погоны, где чья-то ладонь, где только палец один, но мы обшарим всю карту. Всю! А подробная карта - это факт, это даже сокрушительный факт. Ему нужна подробная карта, нашему Аширу.

- Вы себе противоречите, Ибрагим Мехти оглы. Вы же сами сказали, что здесь у вас мак не высевают.

- Но у меня есть средства связи, уважаемый Ростислав Юрьевич. Современнейшие средства связи. Туда полетел, сюда полетел, здесь очутился, там оказался. Многого я не могу, я только пара погон на этой карте. Но это уже кое-что. Думаете, в моем родном Азербайджане нет маковых полянок? - Он запел, подражая Рашиду Бейбутову: - Есть!.. Есть у меня!.. Кокнар! Тирьек! Один черт!

- Странные у вас тут дела делаются, - сказал Знаменский. - Подключили бы руководство, специальные службы.

- Очень умно говорите! - восхитился летчик. - Приятно слушать. А мы их и подключим. Имея факты. Только тогда, с фактами на руках. Почему не раньше? А мы не знаем, кто нам поверит, а кто нас прогонит. Ашира нашего прогнали. Вам этого мало? Вы что, не знаете, что есть, существует такое отвратительное животное, имя которому - Честь мундира?! Это опасное животное! Хуже носорога, который, как известно, страдает близорукостью. Как так?!

У нас?! Какой-то мак?! Какой-то наркотик?! У нас хлопок, дорогой товарищ! У нас первое место в республике! Вы, кажется, вздумали на нас клеветать, дорогой товарищ, не совсем дорогой товарищ, совсем не дорогой товарищ! А что там у вас у самого делается, дорогой, не совсем дорогой? Ага, у вас в сейфе служебном пачка денег обнаружилась?! Громадная сумма?! Кто дал?! Почему взяли?! Вы - взяточник, как выясняется?! Опиум вам мешает?! Вам партийный билет мешает! Вон отсюда! И благодарите аллаха, что мы пожалели вас, учитывая вашу большую семью и сравнительно молодые годы! Вот так... Вы осторожничайте, я хвалю вас за это, но разве я мало вам сказал?

- Мало! У нас в стране этот товар не пойдет. Я не настолько наивен, чтобы не допускать, что кто-то, где-то да покуривает у нас, глотает таблетки, даже колется. Но это единицы. Дурачье! Модничающее дурачье! У нас и в былые времена, как и ныне, существовали и есть эти самые - а ля! Столичная накипь, не более. Так было, так будет. В Москве я недавно даже какое-то подобие панков заметил. Горстка грязно-бритых парней и девчонок. Горстка! На Западе - это эпидемия, у нас - единичные случаи. И тут я не ошибаюсь, не привьется.

- Дай-то бог, дай-то аллах! Всем богам готов поклониться, чтобы ваши наивные предположения сбылись. Да, да, наивные. А забавно, столько лет колесит человек по границам, а такой, оказывается, наивный. Вам ставят в упрек, что игранули там на рулеточке, а вы, смотрю, совершенно светлый товарищ. У них - да, у нас - нет. А вы со мной искренни, Ростислав Юрьевич? Может, это вы все еще темните со мной? Тогда - молодец, тогда - хвалю. Не хмурьтесь, не сердитесь, я не хочу вас обидеть. И я буду счастлив, если вы окажетесь правы, если этот мерзкий товар у нас не пойдет. Между прочим, пока что это товар, всего лишь опиный сырец, идет в Москве по двадцать тысяч рублей за килограмм. После переработки, когда подмешают там что-то, этот килограмм в цене почти удваивается. И это факт. Никому не нужный товар, а в цене золота. Спрос случаен, единичен, а преступный бизнес дает громадные доходы. Как понять, дорогой? А кассеты с порнографическими фильмами - тоже мода для единиц? А поп-музыка, когда все нервы натянуты, а иные и перетянуты, - это что? И все это вместе, порнография, исступленные звуки и исступление тел, наркотический допинг - все это вместе и есть тот товар, который хотят нам навязать, внедрить в нашу страну, причем, рассчитывая не на единицы, нет, не на единицы. И те, кто навязывает нам этот товар, господа с опытом. Они просчитаются, верю, они просчитаются, но они рассчитывают. У них там это уже бедствие. Вот они и хотят навязать нам свое бедствие и навязать в полном объеме. Мода родит спрос, как известно. Наркотики, героин, а он из опиума, дарят молодому дураку вседозволенность. А жить трудно, а мир сложен. И сложности мира тоже иногда не знают границ. Я вычеркиваю слово дурак, я заменяю его на слово - незащищенный. Опытom жизни. Опыт! Его нажать надо. Он - защита. Но пока его нет, мы можем наделать много глупостей, ошибок, иные из которых уже не исправить.

- Вижу, не устаете воспитывать меня. Но я уже понял, понял.

- Я не про вас. Сейчас разговор не вас касается. Впрочем, и вас и меня, если угодно. Я вовсе не защищен от множества ошибок, я их и сотворял. Аллах свидетель! И не обижайтесь на меня, Ростислав Юрьевич. В серьезное дело мы с вами влезли. Тут уж не до обид.

- Учтите, я ни в какое ваше дело не влез.

- Влезли! Обязаны! И хватит темнить. Да, так вот, чтобы укоренилась мода, нужен товар. Много товару. В Пакистане производят, в Турции производят, в Иране производят. Опиный треугольник - эти три страны. Но ведь мы-то рядом. Те же земли, то же солнце. Маку все равно, по какую сторону границы произрастать на древней земле своего обитания. Так отчего же не создать треугольник опиный и у нас? У них есть, и у нас будет. У них гибнут молодые, пусть и у нас гибнут молодые. Очень даже хорошо, если у нас начнут гибнуть молодые, если эта горестная проблема перекинется и к нам. Мода появилась, спрос на товар начался. Что

нужно сделать? Нужно обойти границу, таможню, досмотр. А это можно сделать, провезя через границу не товар, а идею. Идею изготовления наркотиков у нас дома. Идеи же, как вы понимаете, тоже не ведают границ. Внедри идейку в чью-либо слабую голову, какому-либо алчному человеку - и дело сделано. Это, дорогой, диверсия, и громадных размеров. Это провокация ЦРУ, дорогой, учреждения, которое можно назвать самым нашим преданным врагом. И это они, церэушники, скрещивают тут корысть с диверсией. Прервем лекцию? Хватит?

- Черт с вами, давайте ваше письмо, - устало сказал Знаменский, вслушиваясь в шум реки, в ее извечный спор с камнями, все спорит да спорит, не притомилась. - Ладно, попробую отыскать в Ашхабаде вашего Ашира Атаева.

- Ай, молодец! - снова восхитился маленький летчик и снова глазами и кожей глянул по сторонам. - Бери! - он протянул неприметным движением конверт Знаменскому. - Сумбар нас не выдаст! Фу, утомил ты меня, товарищ международник! Нагулялись? Вернулись?

- Вернулись, - сказал Знаменский, всовывая конверт в задний карман брюк, туда же, где лежал пакет старого туркмена, продавца фисташек.

24

Кара-Кала была родиной великого Махтумкули, он родился неподалеку, в селении Геркез. Там теперь был памятник поэту и недавно открыли музей его имени. Вот куда следует проложить путь для иностранных туристов. Недолгий путь по горной дороге, - а как красива эта дорога! - и ты, человек, отринув сегодняшние суетные заботы, медленно подходишь к изваянному из гранита Задумавшемуся. О чем его мысли? Не слагает ли он стихи, наполненные такой живой силой, что и через двести пятьдесят лет они трогают душу, суетную нашу душу?

Они возвращались после доклада Самохина, отказавшись от машины, шли пешком, радуясь горной прохладе, волнами набегавшей на город, и что ни волна свежего воздуха, то новый в ней привкус. Виноградники касались губ мускатом, миндалевые рощи горьковатой сладостью, сами горы касались губ снежной влагой. Самохин молчал, отдыхал, он был похож, пыхтящий, на паровоз, прошедший долгий и трудный путь и вот тормозящий, спускающий пары, остывающий.

А Меред, молитвенно повествуя о своем Махтумкули, к кому на поклон предстояло им завтра рано утром отправляться, чувствуя какое-то непонятное безразличие Самохина к своим словам, решил стихи ему прочесть великого поэта. Меред, читая, забежал вперед, обернулся к Самохину и Знаменскому, пятясь, пошел, читая:

Туркмены! Если бы мы дружно жить могли,

Мы осушили б Нил, мы б на Кульзум пришли,

Теке, иомуд, гоклен, языр и алили,

Все пять - должны мы стать единою семьей!

Меред, пятясь, ждал, как откликнется на эти строки, столь горячо им произнесенные, Самохин. Никак он не откликнулся, он дышал, отдыхал. Спросил вдруг:

- Я не слишком усложнил свой рассказ, Меред? Народ меня понял?

- Конечно, понял! Или... - Он снова начал читать:

Единой семьей живут племена,

Для тоя расстелена скатерть одна,

Высокая доля отчизне дана,

И тает гранит пред войсками Туркмении.

Меред выждал, пятясь, но опять не услышал ни слова от Самохина, понравились ли ему стихи Махтумкули. Молчал и Знаменский, слушая, как ветер волнами идет с гор, как неподалеку шумит, шуршит камнями Сумбар, глядя, как гаснут то тут, то там за деревьями огоньки в домах, но зато вспыхивают то тут, то там крупные, странно большие звезды в небе.

- Эти стихи тут родились, на этой земле, в это веришь, - сказал Знаменский, пожалев Мереду. Но он не фальшивил, сказал, что подумалось, и Меред благодарно ему поклонился, как на Востоке кланяются, коснувшись пальцами земли.

Шедший сбоку и поодаль летчик ускорил шаг, подошел к Мереду и, потеснив плечом, занял его место. И тоже обернулся, пошел, пятясь.

- А есть и такие стихи, - сказал он. - Поэта Зелили. Тоже на этой земле жил и творил. Чуть поближе к нам. Конец восемнадцатого и середина девятнадцатого. Меред, если забуду, подскажешь.

Летчик вскинул руки, вздернул голову, начал нараспев:

О, друзья! Бедняка в нашем веке

Не считают за человека,

Взятка стала доходом бека,

Правосудие - ремесло.

Гнет мой стан тетива тугая,

Тесной стала земля родная.

Зелили! В наше время баи

Точно змеи шипят кругом.

- Кстати, о змеях, - сказал Самохин. - Не заползут они к нам в окна во время сна? Тут ведь их среда обитания...

- Не исключено! - обозлившись, сказал Меред. - Нет, Ибрагим Мехти оглы, не лучшее стихотворение Зелили ты затвердил.

- Ты ведаешь культурой.

- Так как же нам быть? - спросил Самохин. - Спать с закрытыми окнами?

- Ну, заползет гюрза, ну, уползет, - насмешливо сказал Меред, не простив старику его невнимания к прекрасным стихам. - Главное, не задеть ее во сне, не придавить. Змеи мстят лишь за обиду.

- Задача! - озаботился Самохин. - Кстати, Меред, завтра мы прямым ходом едем к поезду, в Кизыл-Арват. Там, кажется, проходит железная дорога на Ашхабад?

- Там. А как же Геркез?

- А зачем нам туда ехать? Совершенно ясно, что это вполне туристический объект. Тут нет вопросов.

- А вам лично не интересно?

- Очень интересно. Но еще одна бессонная ночь меня страшит. Домой, домой! Я и так уже накатался и натрясся.

- Тогда, действительно, вопросов нет, - сказал Меред, резко повернувшись, он все еще, по забывчивости, шел задом наперед.

Поскрипывая, покатались на колесиках ворота, впуская их во двор дома для почетных гостей. В доме горели окна за приветливыми занавесками и все окна были распахнуты.

- А что, если они еще до нас напоззли? - спросил Самохин. - Окна-то открыты.

- Судьба! - сказал Меред. - Ну, укусит! Собираетесь вечно жить, товарищ Посланник? Между прочим, укус змеи хороший выход из положения. Согласен, Ибрагим Мехти оглы? Одиннадцать всего секунд - и нет вопросов.

- За одиннадцать секунд можно кучу дел переделать, - сказал летчик. Влюбиться можно, между прочим.

- Между прочим, - сказал Знаменский, - одиннадцать - это самая ненавистная для меня цифра.

- А для меня - двадцать два, - сказал Меред. - А для вас, Александр Григорьевич?

- Шестьдесят девять, мои молодые друзья, - печально сказал Самохин. Не сердитесь на меня, Меред. Шестьдесят девять - это не подарок.

- Что вы, что вы?! - Меред смягчился, засуетился, кинулся к одному из окон, заглянул в него. - А графинчик с чалом уже вас ждет, Александр Григорьевич! Ибрагим, а нас что ждет?!

- Сон, сон, приятель. Это тебе не Париж и не Красноводск, тут танцовщиц тебе не будет. И вина не будет. Мы совсем рядом с аятоллой находимся. Забыл? Что он велит делать с теми, кто нарушает Коран? Он велит их бить палками.

- Но его палки нам не страшны, граница-то на замке.

- На замке, на замке. Именно! И потому-то это тебе не Красноводск. Перебьешься. Спокойной ночи. Друзья! - Маленький летчик козырнул, четко повернулся, четко зашагал за ворота, страшно довольный собой.

Знаменский в дом не пошел, остался во дворе. А Самохин, поддерживаемый под руку Мередом, идя осторожно, нащупывающим шагом, ибо змеи могли быть повсюду, вскоре замелькал в освещенном окне, створки которого тотчас же с шумом захлопнулись. Старика ждала душная, бессонная ночь.

Здесь было тихо, разом будто вызвездилось небо. Ветер шелестел листьями яблонь, и стало слышно, как яблоки падают в рыхлую землю, и снова донеслась издали неустанная работа реки, день за днем, ночь за ночью и век за веком перетирающей камни.

В самой глубине двора, в противоположной от ворот стороне, стоял у высокого дувала дом сторожа, где жили те самые двенадцать ребятишек, их величаявая мама, их сохлый, большерукий отец и рыжий пес, охранитель семейства. Там светился в окне огонек в синеву. Знаменский пошел туда, угадав по синему отблеску, что там включен телевизор. Как-то не верилось, что там сейчас смотрят телевизор. Здесь, в горах, у реки Сумбар позабылся этот телевизор, это повсеместное мерцание, столь много значившее еще недавно в его жизни.

Но нет, так и есть, семья смотрела телевизор. Дом состоял из двух частей. Из небольшой комнаты и, видимо, кухни и громадной, как барак, комнаты, вытянувшейся вдоль дувала. Там-то, в этой комнате, светился в синеву квадрат окна. Знаменский подошел, заглянув в окно. Вся ребятня, от старших до малышей, расположившись кто где, но на полу, конечно же, на коврах, на подушках, на одеялах, а в комнате кроме телевизора, тоже стоящего на полу, никакой вообще не было мебели, все смотрели сейчас на экран. И мать тут была, и отец, и пес, мгновенно поднявший тяжелую голову, едва Знаменский подошел к окну.

Тотчас поднялся глава семьи и вышел во двор, зная, что собака зря не насторожится. Он увидел Знаменского, не удивился, не обрадовался, не засуетился, а просто шире распахнул дверь, предлагая войти. Знаменский вошел. У порога целая выставка стоптанных сандалет открылась. Больших, маленьких, совсем крошечных. Разулся и Знаменский, в носках пошел по старому ковру, поклонившись хозяйке дома, всей ребятне и собаке тоже, которая встретила его изучающим взглядом, но, поизучав, успокоилась и снова опустила голову на лапы. А Знаменский, отыскав свободное место у стены, сел на ковер, спиной оперся о стену и стал смотреть на экран. Там что-то очень интересное происходило, светился экран в уставившихся на него ребячьих глазах, так распахнутых, что они сами стали маленькими экранами, в них можно было разглядеть, если вглядеться, происходящее на экране телевизора. А там шел мультфильм. Уже поздно было, в Москве дети уже спали, а здесь, по "Орбите", детям еще досказывали вчерашнюю сказку. Это была русская сказка. В ней полно было снега, высоченные сугробы. А здесь, за стенами комнаты, ступи только во двор, жар обдаст от прокалившейся за день земли. Медведь и маленькая девочка подружились на экране. Девочка заблудилась в лесу, среди этих диковинных деревьев с колючими ветками. Девочку подкарауливала со всех сторон опасность, волк лязгал зубами, лисица плела интриги, скверная старая ворона накаркивала беду. Но не бойтесь, ребята, не страшитесь, медведь выручит маленькую девочку, он ее друг. Она только что, не испугавшись, выручила его, подошла, разжала, - как только силенок хватило! - капкан, сковавший его лапу, вернула ему свободу. А он теперь проводит ее домой, охранит от всех опасностей. Так и должно быть. Друзья проверяются в беде. Зря, волк, щелкаешь зубами, зря, лисица, путаешь следы и зря, охотник, взводишь курки, приближаясь к капкану. Друзья выручили друг друга. Ничего не страшно, когда есть у тебя друг.

Вспыхнул экран, закончив эту мудрую историю, а ребятишки в комнате радостно загалдели, захлопали в ладоши. И их величественная мама тоже раз-другой свела ладони, скупно улыбнулся, радуясь за девочку, их строгий отец. Кажется, улыбнулся и пес, приподняв голову.

А на экран выплыла знакомая, очень знакомая ему милая и молодая женщина. У него с ней чуть было любовь не началась. И началась бы, если б куда-то срочно не отбыл, в какую-то из горячих точек планеты, чтобы там, улыбочиво и смело ведя себя, сообщить о событиях, случившихся за тысячи километров от Москвы. А когда вернулся, узнал, что эта милая женщина, умеющая улыбаться не хуже его, - вон как сейчас расцвела улыбкой! - вышла замуж. Кажется, в третий раз. И все по восходящей идя. За какого-то космонавта, кажется, вышла. Космонавтов с каждым годом становилось все больше, их жениховский ранг несколько, разумеется, снижался, но все-таки...

Вспыхнул свет, и ребятишки обратили внимание на гостя. И тотчас узнали его. Не все, но почти все. Только самые маленькие не узнали, потому что в их телевизионном мире он уже

не мерцал. Но большинство узнало. И знавшие стали радостно кивать ему, махать, указывая руками и ручонками на экран телевизора, возбужденно говоря что-то родителям. Странно, никто в Ашхабаде его не узнал, не сопоставил его нынешнего с этим вот экраном, этой метой славы всенародной. Он был несопоставим для взрослых, такой, каким стал, с тем, кем был. Иные и задумывались, мол, где могли его встретить, отчего лицо его знакомо им, но и только. Экран телевизора и он в нем - такое им в голову, в зрение их не вмещалось. А ребяташки вот мигом узнали. Сразу же. Они привыкли к чудесам. Жили в такое время, когда все везде могли очутиться. Вот снег сейчас к ним пришел. А вот пришел и сидит у стеночки человек из телевизионного ящика. Взял и вышел из ящика и вошел в их дом.

А теперь взял и поднялся, поклонился, обулся и вышел из их дома. Ничего особенного... Обыкновенное чудо. Обыкновенная радость.

Знаменский вышел в темноту и в яркое свечение непривычно больших, близких звезд. Новые звуки пришли в ночной город. В близких горах пробудилась жизнь. Там подвывали шакалы, не смея еще спуститься в город, выжидая, когда он окончательно уснет. Это был такой город, где у канав можно было встретить не собак, а шакалов, где над крышами, закрывая небо крыльями, мог пролететь, косо садясь, орел, где в шорохе листвы могла поднять точеную головку гюрза, молниеносная эта смерть, где, неслышно ступая, двигались патрули пограничников, где, особенно ночью, слышны были звуки жизни "с той стороны", а там, хоть всего лишь обмелевшая речка делила стороны, там по-иному звучала жизнь, вскрикивала, плакала и даже радовалась по-иному, хотя там и там жили туркмены.

Окно в комнате Самохина светилось. Не спал старик. Знаменский решил не заходить к нему. Он к самому себе сейчас зашел, в недавнее свое. В темноте ночи ярко светился в его глазах экран телевизора, вспышками шла в этом экране его былая жизнь. Былая жизнь...

Наутро рванули на вездеходе в Кызыл-Арват. Мчались по пыльной, тряской дороге, как участники какого-нибудь ралли. Но вездеход тряски не страшился, а Самохин, схваченный вдруг нетерпением, с готовностью страдал, лишь бы скорей, скорей. Пospели. За три минуты до отправления примчались к отходящему на Ашхабад поезду. Быстро попрощались, крепко обнявшись, но не целуясь, к счастью, этот целовальный обычай в Средней Азии не прижился. Обнялся Знаменский с усатым летчиком, который зачем-то погрозил ему строго пальцем.

- Вы о чем? - спросил Знаменский.

- Вообще! Будем друзьями, надеюсь? Ждем вас в Кара-Кале. Такой это у нас городок, кто раз побывал, еще побывает.

Обнялся Знаменский и с Мередом. И когда обнимался, почувствовал, как тот сует ему в задний карман брюк какой-то пакет, туда же сует, где уже лежали конверт летчика и пакет старого туркмена, продавца фисташек. Меред совал свой конверт, таясь ото всех, таясь и от летчика. Вон оно что, они работали на Ашира поврозь!

- Не потеряй! - шепнул Меред. - Буду в Ашхабаде, найду. Эх, вырваться бы! - эти слова он сказал громко и для всех.

- Скорей, скорей! - торопил Самохин. Он уже простился, уже поднялся на ступени вагона.

И вот они в пути. Странно тоненьким голоском покрикивал приземистый, промасленный тепловозик, похожий на большого жука. За окнами вагона пустыня, верблюжья колючка, ветер крутил барханы. Вагон был старый, еще с довоенной, наверное, поры бегал, он скрипел и постанывал. В вагоне было тесно, он был забит мешками с дынями, ящиками с виноградом. Владельцы этого товара, который скоро очутится на ашхабадских базарах, охотнее сидели на полу, чем на лавках. Поджали ноги и сидели молчаливые, важные, очень картинные в своих халатах, тельпеках, с лицами вовсе не торговцев, а суровых воинов. Это мужчины. А у

женщин лица все же были сокрыты, хоть и не укрыты. Конечно, ни у кого паранджи не было и в помине, но так они как-то спустили платки, так как-то держали, согнув в локте руки, что лиц их было не видно. Только глаза громадные посверкивали, рассматривая украдкой.

- Заехали мы с вами, Ростислав Юрьевич!.. - Самохин близко придвинулся к Знаменскому. - Воистину на край света... А зачем? Или был все же смысл?.. - Самохин всмотрелся в Знаменского, допытывался взглядом, умно и зорко глядел.

Знаменский ничего не ответил, только улыбнулся.

- Ну-ну, - покивал старик. - Ну-ну... - Он устало закрыл глаза, застыл болезненно-оливковым лицом.

Жук-тепловозик отозвался вместо Знаменского, что-то загадочное прокричав тоненьким, пронзительным голосом. Жара в песках разгоралась, разжигало там солнце свой костер-пекло.

25

Он - дома. Эта комнатенка, вросшая в землю, его дом. Он еще не привык здесь ни к чему, а уже поверил, что это его дом, и сейчас был рад ему, всему здесь, особенно этим крошечным окошкам, за которыми близко стояли горы. Он теперь их и поближе узнал. Все тот же Копетдаг, но с противоположной стороны. Слетал, сбегал, чтобы поглядеть поближе, а теперь вернулся, отдалился, но все равно они перед глазами - эти горы, и с ними каждое утро можно будет глазами перемолвливаться, а то и помолиться на них, на извечные их лики.

В комнате у него произошли кое-какие перемены. Он не успел обжить ее, а теперь она показалась обжитой. Это, конечно же, Светлана ко всему тут прикоснулась, Дим Димыч так бы не мог прибрать стол, он у него был завален папками, картами, а теперь звал к своему крошечному, расчищенному простору: мол, подсаживайся, журналист Знаменский, давай, пиши, послужи тебе. И старенькая тахта приободрилась, куда-то подевала свои бугры, став не диваном тут для всех, а постелью для него, здесь поселившегося. Он не успел, улетаая в Красноводск, выложить вещи из чемоданов, чемоданы так и стояли у стены, в ряд встав, готовые кинуться снова в путь, но в комнату уже вселился, хоть и утлый и узкий, но все же шкаф, чтобы туда перекочевали вещи из чемоданов, если все же останется он здесь, в этой комнате, жить. Чемоданы, барственные тут и чужие, призывали покинуть эти убогие стены и как можно быстрее. Прибранный столик, шкаф, тахта, застланная женщиной, предлагали остаться. А куда ему было уходить? Он присел на стул у стола, провел рукой по столу, прикидывая, как тут будет его пишущей машинке, плоской "Эрике", быстро поднялся, раскрыл самый большой чемодан, где была машинка, достал ее и поставил на стол. Достал еще из чемодана один за другим два магнитофона, побольше и поменьше, два "Сони", о них корреспонденты пели, переиначив старинную солдатскую песню: "Наши жены - "Сони" заряжены". Эти ящики тоже нашли свое место на столе. Что еще? Надо бы бумагу выложить, ручки. А зачем? Он разве слетал в Красноводск, побывал в Кара-Кале, чтобы отписаться потом? Кто он? Зачем он? Забылся, выволок все машинки, а они ему не нужны, как и он сам никому не нужен. Он снова сел к столу, раздумав обживать его, злясь на себя, что забылся, выволок вот свое прошлое из чемодана.

В дверях встал Дим Димыч, обряженный в фартучек, с кухонным полотенцем через плечо, спросил:

- Вы как себя приучили после дальней дороги, сперва поесть или сперва под душ? Воду в бак

я налил доверху.

- Сперва под душ, - сказал Знаменский, поднимаясь. - Это Светлана Андреевна тут руки приложила? А где она?

- Сегодня утром вернулась домой. Побыла у меня, чтобы отдышаться, и вернулась. Она часто так в последнее время поступает. Глотнет воздуха - и снова на дно.

- Жаль... А почему на дно? Как это понять?

- Не удалась семейная жизнь у девочки, вот как это понять. Муж, кстати, профессор, медик, наисквернейший человек. Мать мужа, свекровь, стало быть, наисквернейшая из старух. А я все же крестный ее мальчика. Вот ко мне и сбегает. Ну, вставайте под душ. Сейчас наш Ашир примчится. Нужны вы ему. Или полюбились? Как он вам?

- Мне он нравится. Полагаю, умный человек. И жизнь знает.

- Умный... Знает... Вам бы с ним встретиться, когда он был в форме. Стремительный. Сверкающий. Не узнать совсем человека. Разжалованный... Какое слово убийственное. Вдумайтесь, вслушайтесь в это слово: разжалованный...

- А зачем мне вдумываться или вслушиваться, Дим Димыч, когда я сам поселился в этом слове? - Знаменский даже повеселел, так невесело стало на душе. Просто хоть смейся над самим собой, так скверно все. Он и улыбнулся, от души улыбнулся, наигорчайшие выкладывая у губ морщинки. Они, эти морщинки, в такие минуты на наших лицах и укореняются. Вчера не было зарубки, сегодня, гляди, появилась.

- Нет, Ростислав Юрьевич, вы в этом слове не поселились, - несогласно мотнул головой Дим Димыч. - Я для вас еще слова не нашел. Вы транзитный пассажир на станции Несчастье. Вызволят. А Ашира некому. Разве что сам... А как? Разжалованному-то? Тут все построже, чем у вас. Согласитесь, построже. А, легок на помине, явился сокол!

Послышались быстрые шаги, и в комнату, минуя посторонившегося Дим Димыча, вбежал Ашир, глазами-дульцами вперившись в Знаменского. А если бы не эти глаза, не опаленное нетерпением лицо, то показалось бы, что в комнату вбежал ну просто бродяга, опустившийся какой-то тип, уже с утра где-то набравшийся.

Ашир ничего не спросил вслух, глазами спросил, а Знаменский ничего не сказал вслух, глазами ответил. Молча обменялись они рукопожатием, постояли рядом, и Знаменский, теперь знавший, что Ашир самбист, даже мастер спорта, не удержался и дотронулся пальцами до его руки у плеча, обрадовавшись, что ушиб пальцы, что этот, будто бы опустившийся человек был из железа выкованным.

Дим Димыч исчез из дверного пролета и чем-то там гремел во дворе, нарочно гремел, чтобы отгородиться от их разговора.

- Как же так, друг? - упрекая, спросил Знаменский. - Ни о чем меня не предупредил. Я всякий раз натывался на неожиданность.

- Вот и хорошо.

- В аэропорту я ждал, ждал тебя. Даже показалось, что ты в последнюю минуту примчался. Нет, померещилось.

- Почему померещилось? Я был там. Примчался, именно. Понимаешь, свежее пиво в аэропортовский буфет привезли...

- Ну, знаешь ли!

- Знаю, знаю. А ты вот знаешь ли, что сидел в самолете с человеком, у которого в пижонской сумке под сиденьем было килограммов десять опийного сырца? Ты запах не почувствовал? Воняет это зелье какой-то нелюдской вонью. Сладкой тухлятиной воняет, тошнотный запах.

- Нет, ничего такого я не почувствовал.

- Упаковали, постарались. Человеческий нос грубый инструмент, а собак на внутренних рейсах наши службы контроля еще не завели. Беспечничаем. Все та же песня: "У нас?! Как можно?! Быть этого не может, потому что не может быть никогда!"

- И с кем же я там сидел? Ты что, заглядывал в салон с пивной кружкой в руке?

- Именно. Я дальнорюк. А сидел ты со сценаристом Петром Сушковым. Нарядный такой и сверхнарядный. Личико молодежовое, но морщинок сверх меры. Может, и сам уже приохотился? Наверняка! Пустой малый!

- Да, человек, сидевший со мной рядом, представился сценаристом и назвался Петром Сушковым.

- Все правильно сказал, не соврал. И сценарист, и Петр, и Сушков. А вот про то, что под ногами в сумке у него десять килограммов вони и распада, а про это он тебе не сказал. Он не сказал, ты не учуял.

- Нюх слабоват.

- Верно, слабоват. И сейчас, Ростик, эти десять килограммов, поделенные всего-то на пять-шесть грамм в порции, уже начали убивать твоих москвичей, все больше молодых дурней и дур. Прикинь, сколько это порций! - Ашир выпрямился, вскинула его ярость. - Ты прикинь, ты посчитай! Голова кругом идет! А разве он один у них?

- Схватил бы его, отволокл бы в милицию, у тебя силенок бы хватило. Вот тебе и факт. Убийственный!

- Да, факт. Один. Но я бы засветился. Понял? На одном-единственном факте я бы вычеркнул себя из расследования. Не-е-т! Я больше торопиться себе не позволю! Привез?

- Да. - Знаменский извлек из кармана три пакета, ужавшиеся, слипшиеся, протянул их. Аширу.

Ашир взял эти пакеты, разлепил, снова сложил, а потом сунул их в ящик письменного стола.

- Они останутся в твоей комнате, Ростик. Мне с ними по улицам ходить нельзя. Я стал прозрачным. И дом у меня стал прозрачным. Это кусочки карты, которую я хочу нарисовать, когда соберу все кусочки. Дим Димыч обещал мне нарисовать эту карту. Он в курсе. Нельзя, невозможно работать в одиночку. Мне, как ты заметил, помогают. И вот когда мы сложим нашу карту, ты отвезешь ее в Москву. Готовься, тянуть с этим мы не будем. Карта! Я складываю карту! Вот она и убьет их! Пошли есть. И выпить хочется.

- Не пойму, ты все же пьяница или следователь? Кто же пьет в такую жару и в самый полдень?

- Я, Ростик, спивающийся бывший следователь, выгнанный и опозоренный. Понял? Ты думаешь, зачем я сюда примчался? А затем, что тут нашел пристанище один московский неудачник, у которого еще есть денюжки и с которым можно их пропить по-быстрому. Понял? Неудачники, мы с тобой неудачники, а неудачников тянет друг к другу, чтобы вместе пить и

слезы лить. Пошли, подтвердим версию!

- Я бы сперва душ все же принял.

- Ошибка! Неудачники, такие, как мы, не следят за собой, им достаточно, что следят за ними.

- Я все же приму, слипся весь, устал.

- Пили там много? Это хорошо. Как там мой Меред? Как поживает маленький майор? Крепкие ребята?

- А этот старик в тельпеке, продавец фисташек, кто он?

- Так он фисташки для конспирации надумал продавать?! Вот голова! Сказать тебе, кто он такой?.. Скажу, не поверишь! Ладно, пошли есть и пить, потом скажу, не все сразу. Ну, голова! Вот голова! - Ашир повеселел, услышав про этого старика, продавца фисташек. - Фисташки, говоришь, продавал? И дорого взял с тебя?

- Рубль потребовал.

- Замечательный старик! Герой! Ладно, приоткрою его. Знатный чабан. Герой, не соврал, Герой Социалистического Труда. Ну, пошли, пошли! Тебе к воде, мне к водке! Нет, мы их сделаем! С такими ребятами? Клянусь, мы их сделаем!

26

Только уселись за стол, как примчался Алексей, который лишь час назад встречал Самохина и Знаменского на вокзале, развез их - Самохина в "Юбилейную", а Знаменского - домой. Примчался, чтобы немедленно доставить Знаменского к Захару Васильевичу Чижову.

- Начальство срочно требует! - встав в калитке, объявил Алексей, жадно взглядывая на утлый столик под виноградными лозами, такой приманчивый бутылочкой посреди даров земных. - Подлая у меня профессия, я вам скажу! Алексей не смаргивая глядел, опечаливаясь все больше. - Сейчас бы тятнуть стопаря, захрустеть бы чем-ничем, но нельзя! Баранка! Она хуже кандалов! Помчались, Ростислав Юрьевич! Что-то стряслось! Захар Васильевич мрачнее тучи!

Только из-под душа, еще не обсохнув, куска не успев съесть, покотил Знаменский на зов начальства.

- Я вижу, сдружились вы с этим бывшим следователем, - сказал Алексей. Как судьба играет человеком, ай-яй-яй! Кем был и кем стал! Популярнейшей был в городе личностью. Все наши хапуги, завидев его, трястись начинали. И что же? Брал, оказывается. Вот спивается теперь. Совесть замучила. Но, конечно, с ним не заскучаешь. Острый человек. А Лана вам кланяется, Ростислав Юрьевич. Зацепили вы ее.

Хоть и плохо еще ориентировался в городе Знаменский, но дорога в МИД была очень проста, шла напрямик по проспекту Свободы, мимо запомнившегося парка, после которого и надо было свернуть вправо, развернуться - и вот и прибыли. Но Алексей вел машину какой-то другой дорогой, тоже показавшейся знакомой, тут все дороги были породнены деревьями, и все же куда-то не туда вез.

- Мы не в МИД? - спросил Знаменский.

- Захар Васильевич велел к себе домой доставить. Он как туча, а наша Нина свет-Павловна еще мрачнее. Вы там, в Кара-Кале, не учинили чего-нибудь, Ростислав Юрьевич? - Алексей снял даже руки с руля, покрутил ими, изобразив нечто фривольно-замысловатое. - А? Дамы, а?!

- Кобры там, а не дамы. - Знаменский протянул руку к баранке, с наслаждением приняв в ладонь упругий ход машины, выправил чуть этот ход. Так и повел, Алексей не мешал ему, не перехватывал руль, с понятием был человек. Едва коснувшись руля, стал Знаменский узнавать дорогу, водительскую обретая память.

- Тормози, приехали.

- Есть, капитан!

Захар Чижов встретил друга возле дома. Они обнялись, будто после долгой разлуки. Обнявшись, и в калитку вошли. Захар помалкивал, Знаменский ни о чем его не спрашивал.

Недели не прошло, как он был здесь, а сколько сразу приметилось перемен в этом крошечном саду. Все тут будто шагнуло в другой цвет, ну словно повзрослели деревья и виноградник, в зрелость вступили, в глубину.

- Похоже, солнце у вас творит чудеса, - сказал Знаменский.

- Похоже, похоже... Здравствуй, Ростик. - Из дома вышла Нина. Неожиданная какая-то, строголикая. На него и взглянула и не взглянула, мимо прошел взгляд, так только женщины умеют глядеть, когда гnevаются. Но разве он в чем-то перед ней провинился?

- Ниночка, и тебя тоже не узнать. - Знаменский подошел к ней, поцеловал руку, наигрывая светскость, взглянул улыбочиво. Нет, она ответно не улыбнулась, она и вправду гневалась.

- Что случилось, друзья? - спросил Знаменский, недоумевая.

- Как тебе сказать... - Захару явно было не по себе. - Ты завтракал, Ростик?

- Только было начал, как был вами затребован, шеф.

- Вот и хорошо, позавтракаем вместе.

- Ох уж эта мужская консолидация! - вздохнула Нина. - Готов даже подряд два завтрака съесть во имя дружбы. Да не тяни ты, Захар! Конечно, будет ему завтрак, но сперва он должен получить выволочку. Надо же, донжуан проклятый! Едва приехал, едва свалился к нам со всеми своими неприятностями, как уже у него амуры начались! Господи, что за человек?! Бедная Лена...

- Нина, о чем ты? Захар, что она несет?

- Ах, он не знает! Ах, он не догадывается! Захар, может быть, объяснишь товарищу...

- Да что тут объяснять?.. - Захар томился, видно было, что ему тягостен предстоящий разговор, он тянул, не начинал, озаботился вдруг, что вода в канавке сбилась с пути, закружилась, наткнувшись на обсыпавшуюся землю, и он кинулся выручать воду, схватил кетмень и начал расчищать завал. - Видишь ли, Ростик... - Захар пошел вдоль арыка, расчищая его дальше, за дерево зашел, взрыхлил вокруг землю, раз уж кетмень в руках. - Видишь ли, Ростик... На тебя поступила жалоба... Точнее сказать, донос... Но за подписью, вот беда... - Под одним деревом землю он взрыхлил, но надо было и под другим взрыхлить, раз уж кетмень в руках. - Совсем запустил сад! - пожаловался Захар, которого теперь даже не видно было, отгородили его деревья. Впрочем, слова его еще можно было разобрать: -

Понимаешь, если бы это была анонимка, я бы ее просто порвал и бросил в корзину... - доносилось из-за деревьев. Но это не анонимка, это заявление. И за подписью, и с указанием звания, и даже с указанием партийного стажа. Что прикажешь мне делать?

- Окучивать сад, Захар! - сказала Нина. - Окучивать и окучивать! Теперь я знаю, как тебя заставить окучивать наш сад!

- Вот ты сердисься, - издали донесся голос Захара. - А мне какво?

Он вернулся. Несчастный, с вымокшими ботинками, облепленный какой-то паутиной, волоча за собой кетмень.

- Захар, прошу тебя, не бросай кетмень, - язвительно сказала Нина. - В конце концов ты всегда сможешь работать садовником.

- Я, кажется, подвел вас, друзья? - спросил Знаменский. - Но даю вам слово, я не знаю за собой никакой вины.

- Нас подвел? - переспросила Нина. - Начнем с того, что ты себя подвел. Ну, хорошо, скажу я, коль скоро муж мой дипломатически переквалифицировался в садовники. О, дипломаты! Нет, о, мужчины! И так, Ростик, как выяснилось, ты поселился в доме, где живет одна весьма знаменитая в городе дама. Вернее, не то чтобы живет, но иногда ночует. Хозяин этого дома, говорят, что он весьма странный тип, ее какой-то родственник, и вот она... Согласна, доктор Светлана Андреевна просто прелестная женщина. Но, Ростик... Что ты знаешь про нее?..

- Нина! - Захар вышагнул вперед и кетменем ударил оземь. - Нина, прошу тебя, не будем касаться чужой судьбы! Как можно, Нина? Ростик, все дело в том, что муж этой женщины, видимо, из породы отвратительных ревнивцев. Словом, он написал нам заявление, требуя...

- Иногда ревнуют не без повода, - тихонько обронила Нина.

- Это его дело! Вызывай на дуэль, черт побери! - взорвался Захар, смешно, как рапирой, взмахнув кетменем.

- А это мысль, - сказала Нина. - Ведь Ростик у нас шляхетских кровей. Верно, Ростик, вызывай ревнивого мужа на дуэль. Впрочем, он старик, не принято фехтовать со стариками. Но Захар, мой Захар-то каков! Я тобой восхищаюсь, Чижов, из деревни Чижи, Смоленской губернии. Бретер! Дуэлянт! Bravo, Захар!

- Что с тобой, Нина? - удивленно поглядел на жену Чижов.

- А то, мои милые, что эта женщина действительно может сыграть роковую роль в судьбе Ростика, да и в твоей, мой дуэлянт-муженек. Это роковая женщина, а город у нас не так уж велик, у нас все про всё знают, даже я, хоть мы тут недавно, все про всех знаю. Да, согласна, муж у нее не из симпатичных личностей. Но он подобрал ее после суда, он подобрал ее, когда она ждала ребенка от другого, он загородил ее собой, а у нее была репутация хуже некуда. Тут, Ростик, лет двенадцать назад был громкий, громчайший процесс по медицинскому институту. Веселились студенточки со своими педагогами. Медики! Циники! Одна так довеселилась, что отравила мужа и его отца. Мешали они ей веселиться! Вот такие дела. По этому процессу, а его в городе помнят, многих девиц таскали. Была там и твоя Светлана, Ростик. Шла по списку слишком веселившихся. Ну, оправдали, ждала женщина ребенка, но... Но вот что это за женщина, Ростислав Юрьевич. И ты, едва приехав, едва...

- Да, вот что это за женщина... - Знаменский смотрел на Нину, дивясь ей. Ведь это же их Ниночка-блондиночка была перед ним, славная, милая, беззаботная, отзывчивая, - что там еще? - добрая, веселая, заводная, - что там еще? Все ушло! Совсем она, полное сходство, но

другая. - Да, Ниночка-блондиночка... Ну я пошел, Захар?

- Иди. Считай, что я переговорил с тобой официально. Письмо мы, разумеется, закроем. Слушай, съехал бы ты с этой квартиры. Там и неприглядно очень. Знаешь, поживи пока у нас, мы тебе найдем не спеша что-либо попримечнее. Нина, ты согласна? Приглашаешь?

Пойми их, этих женщин, эта суровая обличительница сейчас плакала, уткнувшись лицом в ладони, рыдания сводили ей плечи.

- Сын... не может забыть сына... - шепнул Чижов Знаменскому, который уходил, чтобы удержать его, и тотчас кинулся к жене: - Нина? Ну, что ты, Ниночка? Ну, умоляю тебя!

Но тут требовательно зазвонил из дома телефон, пронзительно и настойчиво, суля какие-то неприятности, и Захар кинулся в дом, схватил трубку.

- Да?! Слушаю?! - Он надолго замолчал, слушал. Потом произнес всего одно слово: "Еду!" - и повесил трубку.

Он вышел из дома, добитый новым известием. Уныло глянул на жену, на Знаменского, разведя руки, будто на нем была вина, сообщил:

- Умер Александр Григорьевич Самохин... Острая сердечная недостаточность... Час от часу не легче...

27

Знаменский вышел за калитку следом за выбежавшим на улицу Чижовым, который его с собой в машину не позвал, только рукой махнул, как-то неопределенно, словно бы извиняясь, словно бы прощаясь. Мол, сам понимаешь, не до тебя. Знаменский понимал. Машина умчалась, а Знаменский побрел по узкой полоске, прерывистой и утлой, которую можно было назвать тут тенью и которая теснилась к стенам домов, по ней не просто было ступать. Но все пространство за этой полоской было из расплавленного чего-то, казалось лентой жидкого металла, спущенного из домны. Жгло солнце, и жгла жалость к старику. Открылось, мгновенно стало ясным, что это был хороший человек, что он был умен, был добр. И он знал, что смерть близка, он знал. Неужели, когда смерть совсем близко подходит, человек ее видит? Не эту, в белом балахоне и с косой, чепуха это, а что-то иное, а что-то такое, что говорит ему: готовься, пора уходить. Не облик, а голос. И человек начинает готовиться. Или пытается сбежать от этого голоса, кидается в панику, напрасную и постыдную. Самохин не паниковал, он заторопился немного, но чтобы домой поспеть, чтобы не в дороге... Жаль старика. Не надо было его тащить в поездку, сманивать на какой-то там чудодейственный чал. Но, может быть, эти два последних в его жизни дня были для него не пустыми, не суетой, в какой он жил, все цепляясь за службу, за кресло, все по нисходящей? Он в музее Двадцати Шести побывал. Он на Каспийское море взглянул. Он летел над древней землей, так широко ее увидев, но и так близко от нее, что все морщины углядел, и трубы, по которым вернулась на эту землю вода. Он слышал, как пел от счастья Меред, сын этой земли. Он слушал, как шумит, перетирая камни, Сумбар. Он... Жаль старика... Но лучше так, лучше закрыть глаза, еще помнящие заросли миндаля, не открыть их, чем... Было жаль самого себя. Он шел по лезвию тени, ударяясь плечом о стены домов и дувалов, и если бы мог, он бы заплакал, как там, на Каспии, когда поплыл, но слез не было, они в нем высохли. Было жаль Светлану, ее всего жальче было жаль. Вон оно как?! Вон как обошлась с ней жизнь?! И все обминает, добивает. Люди беспощадны, незабывчивы, подозрительны, их тешит чужая беда, а когда человек, которому не повезло, - ну, не повезло! - хочет поднять, хотя бы приподнять голову,

люди противятся этому, бьют по твоей голове, им важно, чтобы неудача твоя длилась, им так хочется, им так радостней жить. Вот она истина! Где он жил? Как он жил? Что знал о жизни? Вот теперь ему покажут, что это за штука жизнь! Надо было уезжать отсюда. Вот и все с Ашхабадом. Заявление поступило не на него, оно поступило на нее. Доклеветовали ее. Ах, Ниночка-блондиночка, кто бы мог подумать...

Знаменский решился, пересек проспект Свободы, как в пламень вступив, кинулся к подкатившему троллейбусу, вскочил в него, вшагнув, как на самую верхнюю ступень парилки мы вшагиваем, страшась немедленно же свариться. Не сварился, многотерпелив человек, оказывается. Но все, все с этим городом, где зной мог бы хоть злобу из людей выпарить, но нет, не выпарил. Так зачем же ему этот город? Сейчас сложит чемоданчики, они и не разложены, напишет письмецо Захару и - назад, в Москву, где какая-никакая, а жена, где мать... Вот, припекло, и вспомнил мать, которой так еще и не успел ответить на ее телеграмму. А если б зашел на почту, то и письмо бы там от нее получил. Одно, а то и два и даже три. Вспомнил... И еще разок вспомнил, когда увидел старую женщину, там, в Кара-Кале, которая сказала ему какие-то очень важные слова. Какие? А, вот эти: "Норисует-то жизнь..."

- Все правильно, все правильно... - Опять эти слова вырвались, проговорились у него вслух.

- Тогда сходите, если все правильно, - подтолкнул его какой-то сохлый старичок в пенсне из прошлого века, с седенькой бородкой клином из минувшего же столетия.

Как раз троллейбус остановился, раздвинул створки, и Знаменский сошел, пришлось сойти, его подталкивали, им управляли. И даже, обернувшись, помог старичку ступить на землю, протянув ему руку.

- Вам не жарко? - спросил.

- Переносу, - сказал старичок. - Благодарствую. - Он зорко глянул на Знаменского. - Узнал вас. Вы человек телевидения.

Да, дети и старики - самый зоркий народ.

- А вы, простите, чей человек? Как вас занесло в это пекло?

- Смешно сказать, любовь! - старичок церемонно поклонился и засеменял по солнцепеку, демонстративно пренебрегая тенью.

Побрел дальше и Знаменский. До дома Дим Димыча теперь было близко, но надо было опять пересекать проспект. Что ж, пересек, не утрастился зноя, чем он хуже старичка.

Вот и школа, возле которой он останавливался, чтобы посмотреть, как прыгают через железную ограду мальчишки. Когда это было? Очень давно, показалось, что очень давно, но начал считать дни - и вышло, что совсем недавно. Мальчишек сейчас тут не было. Лето. Каникулы. Где-то у воды прыгают. Школьный двор был пуст и печален. Все школы мира без детей отвратительно пусты и удручающе печальны. И не потому, что их худо строят. Иные из школ хорошо строят, но без детей они все равно пусты и печальны. А тот барак в Кара-Кале, ведь барак же, где целая дюжина ребятишек смотрела телевизор, - он запомнился прекрасным залом, потому что там были дети.

На столбе у школьных ворот заметил Знаменский какую-то бумажку, только лишь приклеенную к столбу, еще не выжженную. Он подошел поближе, прочел: "Даю уроки любознательным". И все. А дальше адрес и подпись. Адрес указывал на тот дом, куда он шел, подпись была такая: "Д.Д.Коноплин, картограф". Так вот он чем занимается, Д.Д.Коноплин, этот весьма странный тип, как отозвалась о нем Нина, он дает уроки

любопытным. Эх, Ниночка-блондиночка!..

Знаменский свернул в переулок, двигаясь по указанному адресу. Он и еще одну такую бумажку на столбе обнаружил. А вдали и еще виднелся столб с такой же беленькой, не выжженной бумажкой. Его квартирохозяин, Д.Д.Коноплин, вел его от столба к столбу, будто взяв за руку. Ну что же, он тоже сейчас объявит себя любопытным.

Знаменский вошел во двор, увидел непечатую бутылку, нетронутый натюрморт. Ни Дим Димыча, ни Ашира тут не было. Он вошел в дом, заглянул в одну комнату, в другую. Вот они, нашлись. Они стояли над письменным столом, на котором была разостлана карта, странно похожая на лоскутное одеяло, сшитое из разрисованных маками крошечных лоскутов.

- Здесь дают уроки любопытным?! - громко спросил Знаменский.

- Здесь, здесь, - не отрываясь от карты, рисуя на ней тонкой кисточкой очередной маковый цветок, отозвался Дим Димыч. - А мы уже заждались.

- Что там у тебя стряслось? - спросил Ашир.

- Муж Светланы Андреевны написал донос, что я... Словом, мне надо съезжать от вас, дорогой Дим Димыч. И вообще, уезжаю, друзья. Не прижился в ваших благословенных краях.

- Пойти, что ли, убить его? - серьезно задумался Ашир. - Зачем земле такой человек?

- Ашир, умер Александр Григорьевич Самохин, - сказал Знаменский. Сердце...

- Так! - Ашир распрямился. - Так! Не зря жил... Не знаю, как все свои шестьдесят девять лет, но два дня из них не зря жил.

- А ты жестокий человек, Ашир, - сказал Знаменский.

- Война, дорогой. Ты, я слышал, уезжать собрался? Я еще не все сведения собрал. Подождешь.

- Не смогу.

- Война, дорогой. Подождешь. А все-таки жаль старика. Поверь, я честно думал, что чал продлит ему жизнь. Да... Пошли, выпьем, у вас ведь принято пить за упокой. Честно выпьем. Пошли.

Они вышли во двор, встали у стола, Ашир всю бутылку до дна разлил по трем стаканам.

- До дна! - приказал. - За его два главных дня в жизни!

Они выпили. До дна.

28

Что за день?! Снова примчался Алексей, встал в калитке, завистливо глянул на стол и с удовольствием объявил:

- Ростислав Юрьевич, начальство требует. Срочно!

- От меня водкой разит, - сказал Знаменский. - Еще начнут выговаривать, как мальчишке.

Впрочем, есть выход... - Он быстро пошел в дом, так порывисто наклонившись, что Ашир, хотевший было его остановить, безнадежно махнул рукой.

- Пошел писать заявление об уходе, - сказал он. - Нельзя таким пить, слишком решительными делаются. А им что? Наломают дров, а родственнички и дружки выручат. Вседозволенность!..

- Не осуждай его, - сказал Дим Димыч. - Он не ради себя...

Верно, Знаменский сейчас писал заявление об уходе. Не присаживаясь к столу, который вот и послужил ему, Знаменский быстро начертал на листке бумаги несколько слов. Его "Золотой Паркер", угретый в кармане, жирно и охотно выводил слова. Знаменский подписался, сложил листок вчетверо и, прощаясь, глянул в окно на горы. В дневном мареве они были едва различимы.

- Все! - громко произнес Знаменский, показав горам листок, и пошел из дома.

Во дворе он попал в перекрестие взглядов - неодобрительного, сочувствующего, любопытствующего. Он подошел к Алексею, к любопытствующему, вручил ему свой листок.

- Доставь! - и вернулся к столу. - Есть еще что выпить?

- А на словах ничего не будет? - спросил Алексей.

- Нет, - сказал Знаменский. - И ответа не нужно. Послание исчерпывает вопрос. Поезжай, дружок.

- Ростислав Юрьевич, надейтесь на меня, я вас провожу, - сказал Алексей. - Вы когда? Сегодня? Завтра?

- Поезжай, поезжай, - сказал Ашир. - Зачем ему спешить? Мы поьем еще немножко, погуляем. Куда спешить? Мы свободные люди. Одного уволили, другой уволился, третий на пенсии. Самые свободные люди на свете! Завидуешь, Алексей? Сочувствую тебе, но помочь не могу. Привет!

- А может, не отвозить эту бумажку? - осторожно помахал листком Алексей. - Скажу, что не нашел вас. А, Ростислав Юрьевич?

- Вези, вези, он не передумает, - сказал Ашир. - Мы народ решительный. Вези!

- Жаль... - Алексей медленно ступил за порог. - Думал, поживете у нас, порезвимся... - Калитка медленно затворилась за ним, и почти сразу же взревел мотор и рванулась машина, деля с водителем его досаду и печаль.

- Счастливый человек! - сказал Ашир. - Кому что, а ему бы только резвиться! Совсем счастливый человек. До тошноты. Я пойду, друзья. Ростислав Юрьевич, сразу вдруг не уезжайте. Если хотите, это приказ. Ростик, дорогой, и не пей больше, прошу тебя. Обещаешь? - Он обнял Знаменского, близко заглянул в глаза, в несчастные его глаза несчастными своими глазами. - Друг, нам сейчас надо трезвыми быть.

- Обещаю...

Ашир ушел. Знаменский и Дим Димыч остались вдвоем.

- Что там он понаписал в своем омерзительном заявлении? - спросил Дим Димыч.

- Мне его не показали. А на словах... - Знаменский оборвал фразу.

- А на словах рассказали о нашумевшем в городе процессе, когда судили преподавателей и студенток мединститута?

- Да.

- Суд бывает правый и неправый. Судить следовало соблазнительей, а не соблазненных. Девочки... Что они понимали в жизни? Им казалось, что они вступили в непрерывный праздник, а они вступили в непролазную грязь.

- Не продолжайте, Дмитрий Дмитриевич. Я не судья. Вот уж кто не судья. Но раз заговорили, спрошу все же... Почему она не уйдет от этого человека, который, видимо, ей ненавистен? Как-то не складывается образ...

- Да, она гордая. И давно бы ушла. И уехала бы отсюда. Давным-давно. Сын держит. Мальчик не знает, что этот скверный человек не родной ему отец. Это последняя ниточка, которая все держит. Конечно, вот-вот оборвется, но держит. Светлана страшится за мальчика с его нервной системой, что ее разрыв с мужем отразится на нем. И еще одно обстоятельство. Здесь у нас в городе работает замечательный логопед. К нему сюда свозят детей со всей страны. Светлана верит, что он вылечит Диму. И есть сдвиги. Таковы обстоятельства, дорогой Ростислав Юрьевич. Не мы правим жизнью, нами правит жизнь.

- Да, да, но рисует-то жизнь...

- Именно! Бога отвергли, так тогда, скажите, в чьих же руках наша жизнь? Чьи мы данники, чьи избранники? Обстоятельств? Ну, пусть будет так. Бога нет, есть обстоятельства. Я иначе думаю, но я в меньшинстве.

- Помогают вам ваши молитвы?

- Нет... Не знаю... Кто про это знает?.. И дело не в молитвах, дело в делах, нами делаемых. Вот вы, один из многих, один из отвергших его, вы сейчас приобщились к делу, ему угодному. Суть в этом!

- Приобщился. Завтра всего неделя, как я здесь, и завтра меня не будет.

- Завтра неделя, говорите? - Дим Димыч построжал, палец к небу возвел. - Бог, как известно, сотворил человека на шестой день! - Он скривил губы, побуждая их к улыбке, мол, шутит он, мол, он тут все шуточки шутил, но улыбка не удалась ему.

За воротами послышался шум остановившейся машины, хлопнула дверца, распахнулась калитка, в прямоугольнике которой встала Светлана Андреевна. Она была в белом докторском халате, а за спиной у нее белела машина "скорой помощи", и когда Светлана вошла во двор, красный крест на машине как бы вписался в открывшийся прямоугольник.

- А вот и я, - сказала Светлана. Она легко пошла через дворик, стараясь не попасть тонкими каблуками в щели между камнями и кирпичами, вымостившими землю. Она не поздоровалась со Знаменским, прошла мимо него, взглядывая, разглядывая, но забыв кивнуть. Красивая, ловко подпоясанная, в нарядных, праздничных туфельках, да и причесана она была очень тщательно, как причесываются женщины, изготавливаясь идти в театр или в гости. Не понять было, что сейчас на душе у нее, весела ли, озабочена ли. Разгоряченное было лицо, с вытемнившимися, решительными глазами. Она вошла в садик Дим Димыча, рукой провела по извившейся старой, шершавой лозе, рукой провела по стволу тоже старой и шершавой сливы, вскинув руку, будто притронулась ладонью к склону горы, погладила его. Вдруг обернулась, порывисто подошла к Знаменскому, ладонью проведя по его плечу. Сказала, взглянув ему в глаза:

- Я все знаю... У нас такой город... Сперва подружка, работающая в вашей конторе, принесла новость, что Зотов... - Она помолчала, поискала слова: - Зотов, ну, это тот человек, который написал о нас с вами... Господи, человек!.. А только что на проспекте нашу машину нагнал Алексей, обогнал и крикнул мне, что вы увольняетесь. Он даже бумажкой в воздухе помахал. Вы это из-за меня, Ростислав Юрьевич? Меняете судьбу? Все перечеркиваете?

Знаменский молчал, дивясь лицу этой женщины, разгоравшемуся в нем азарту, ее глазам, перекрашивающимся из серых в синеву в темно-огненные.

- Так мы с вами любовники, Ростислав Юрьевич? - Она совсем близко к нему придвинулась, закидывая голову, чтобы совсем близко всмотреться. Зачем вы уезжаете?! Он этого и добивался! Добился! Но все, все, теперь все! - Она обернулась к Дим Димычу: - Крестный, вечером я перееду к тебе, принимаешь? Дима пока в интернате, за лето я что-нибудь придумаю. Мне давно обещают комнату. Приютишь меня, крестный?

- Значит, решила, рвешь последнюю ниточку? - Дим Димыч хотел было обрадоваться, но сник. - А Дима?

- Он догадывается, он даже знает, но молчит, щадит меня. Он такой, он старше своих лет, он умеет уже щадить. Ничего, мы заживем с ним вдвоем. Он вылечится, и мы уедем, уедем, уедем! - Она вдруг сердито, этими темными в пламень глазами, поглядела на Знаменского. - А вы зачем уезжаете? Из-за мерзкого доноса? Благородничаєте?! Вот уж чего не следовало делать! Он только будет радоваться, ликовать! И разве мы с вами согрешили хоть в помыслах своих?! Отвечайте, вы хоть раз единый взглянули на меня, как на женщину?! Вас сковала беда, вы ослепли от нее! Вы все время в себя смотрите! Вам не до женщин! Оставайтесь! Зачем вы это сделали?! Вас натаскали на джентльмена, вот вы и совершили поступок! Натасканный, вы натасканный, вы ненастоящий!

- Светланочка, успокойся, прошу тебя! - помолил Дим Димыч. - Ну зачем ты так?!

- Я все время смотрю на вас как на женщину, - растерявшись, оправдываясь, сказал Знаменский. - В первый же миг, как увидел. Подумал, какая красавица.

- Правда? - Она усмехнулась.

- Подумал, что у вас очень красивые ноги. Знаете, мы ведь сразу посмотрим на ноги.

- Правда? - Она смягчилась, пригасли огоньки в ее все еще темных глазах.

- Что я болтаю?! - в отчаянии схватился за голову Знаменский. Он попытался улыбнуться, к спасительной своей прибегнув улыбке, и она выручила его. Заулыбался во всю ширь, ослепительно, беспечно, легкомысленно, благожелательно, открыто, доверчиво - выбирайте, что вам подходит.

- Вы славный, - сказала Светлана. - Такой же несчастный, как я, но я злая, а вы славный, не доколотила вас еще жизнь. И не нужно, не нужно! Верно, уезжайте! Ну нас! - Вдруг снова азартом вспыхнули ее глаза, но добрее становясь, возвращаясь в синеву. - Придумала! Надумала! Мы покажем им себя! Ну, прошу вас!.. Вы обещаете, если я попрошу вас, не отказываться?! Не пугайтесь, это не страшное что-то!

- Обещаю. О чем бы ни попросили, если только не попросите остаться.

- Остаться?.. Нет, я о пустяке вас попрошу. Сегодня вечером, когда я перееду сюда, пойдете вместе в парк. Погуляем там по аллее. И все.

- И все?

- Да. Но это все же поступок, Ростислав Юрьевич. Летом, в жару, в нашем парке прогуливаются не только мальчишки и девчонки, там весь город сходится подышать. Ходят, разглядывают друг друга. И мы с вами пройдемся. Натe, смотрите! Сделайте это для меня!

- Решено! - Знаменский попятился, шаркнул ногой, поклонился, не сгибая стана, а как подобает, кивком глубоким, руки опустил, слегка округлив. Прошу вас, Светлана Андреевна, оказать мне честь...

Она рассмеялась, кивнула и пошла к машине.

- До вечера! - крикнула уже с улицы.

Хлопнула дверца, заурчал мотор, мимо калитки мелькнул красный крест.

- Вот такая она у нас, - сказал Дим Димыч и гордись, и печалась, и тревожась. - Этот парк... Что выдумала?! Там одно хулиганье по вечерам. А вы чужой в городе. Бога ради, хоть не наряжайтесь, как птица какаду!..

Ну что за день?! Снова послышался за воротами шум останавливающейся машины, снова распахнулась калитка, и в ее прямоугольнике встал Захар Чижов.

- Ростик, нам надо поговорить, - сказал он.

- Говори, Захар. Но только не о том, чтобы я остался. Все с этим. Спасибо тебе за помощь, но не вышло, не прижился я тут.

- Проходите, садитесь, - сказал Дим Димыч. - Я не буду вам мешать, исчезаю. - Он поспешно зашагал в дом.

Чижов вошел во двор, осмотрелся печальными глазами.

- Не надо было тебе сюда переезжать, Ростик. Пожил бы у нас, а потом пробили бы тебе квартиру.

- И зажил бы по-натасканному... Нет, Захар, я рад, что поселился здесь, вот с этим убежавшим Дим Димычем познакомился. Я рад, что побывал в Красноводске, в Кара-Кале... И тебе я рад, Захар, что такой ты у нас... Тебя еще судьба друга заботит... Я рад...

- Ну, радоваться нам нечему, Ростик. Да... Итак, уезжаешь?

- Уезжаю. Не сию минуту, побуду еще немного, но совсем немного, и назад. Боюсь, мой тесть меня не похвалит, да и Лена не похвалит. Что ж, ну что ж...

- Еще до того, как ты подал заявление об уходе, - сказал Захар, отчего-то не смея поднять глаз на друга, - понимаешь, еще когда ты был нашим сотрудником, начальство решило, что ты будешь сопровождать гроб с телом Самохина в Москву. Что говорить, хуже поручения трудно придумать, но... И потом, ты был с ним последние дни... А теперь не знаю как и быть... Ты вправе отказаться...

- Его отправляют самолетом? - спросил Знаменский.

- Да.

- Когда надо лететь?

- Завтра же, к вечеру, как только завершим все формальности. Из Москвы пришла правительственная телеграмма. Посланник все-таки... Надо еще гроб достать. Цинковый, кажется. Никакой лед в такую жару не поможет. Но ты вправе отказаться, Ростик. Уволился, и

все! Поделом, не копайтесь в грязных заявлениях!

- Хорошо, я провожу Александра Григорьевича Самохина, Чрезвычайного и Полномочного Посланника, в его последний путь домой, - сказал Знаменский и строго выпрямился. - Это мой долг перед ним. Знаешь, Захар, он был хорошим человеком. Он мне сочувствовал. Мы там с ним серьезно поговорили. Жаль...

- А я думал, суетный старик, отравленный ядком тщеславия, - сказал Захар. - Рад, что ошибся. Тебе виднее, хотя два дня велик ли срок.

- Велик. Два дня - это треть того срока, который понадобился богу, чтобы сотворить мир и даже человека.

- Вижу, тебя тут слегка уже распропагандировали, - улыбнулся Захар. - Я поехал, Ростик. Алексей будет поддерживать с тобой связь. Ну и домик! Даже телефона нет. До завтра, Ростик!

- До завтра.

Снова отворилась и затворилась калитка, провожая Захара, снова зашумел мотор рванувшейся машины, и стало тихо. Ну и день! Но день этот еще не кончился, он длился, он еще подойдет к вечеру, подойдет к ночи, шестой этот день.

А вечером, едва стемнело, а здесь, в предгорьях Копетдага, сразу вдруг темнело, будто солнце, сорвавшись, падало за горы, приехала Светлана. Она подкатила к дому, но из машины не вышла, посигналила, чтобы кто-нибудь вышел ее встретить. В доме был только Знаменский, Дим Димыч куда-то умчался по делам, и Знаменский вышел на сигнал.

Он не знал, кто сигналил, но и знал. Она только могла так просигнализировать. А как? Объяснить бы не смог, но понял, что это она. Все эти часы он ждал ее, слоняясь по дому. Вещи свои он не стал укладывать в дорогу, наоборот, он выложил из чемоданов все наряды, не зная, что же ему надеть для похода в парк. Дим Димыч не советовал наряжаться, и он был прав, но хотелось нарядиться. Для нее. А может, для себя? Ему еще отвыкнуть да отвыкнуть от бывшего. И он повесил на спинку стула свой белый смокинг с короткими рукавами, который ему сшили в Каире, повесил на спинку другого стула крахмальную сорочку с воротом с отогнутыми углами, чопорную рубашку для галстука бабочкой, он и бабочку эту добыл, положил на этот скромный столик, на котором цвела сейчас загадочная карта, похожая на лоскутное одеяло, затканное красными маками. Его бабочка, тоже красная и с белыми крапинками, сразу прижилась на маковом поле, будто крылышками взмахнула. Он достал брюки из синей невесомости, которые купил в Мадриде, долго выбирал башмаки, выстроив их в ряд на полу. И что ни пара, то улицы, улицы вспоминались, города, даже страны. Но не верилось, что он был там, ходил там. Не верилось. Принял душ, побрился, попробовал почитать, но не читалось. Он ждал. И воздух в доме ждал. Сам дом ждал. По нему сквознячки погуливали, где-то что-то все время шорохом оживало. Сад ждал. Деревья насторожились, к листьям листья приложив ладонями, чтобы лучше слышать.

И вот она приехала, посигналила. Он выбежал к ней навстречу. Светлана сидела в нарядном, стального цвета, "Москвиче" модели "Люкс", о чем уведомляли сверкающие буквы. Его "мерседес" был вишневого цвета. Вспомнился и забылся, разверилось, что есть у него эта машина. Куда-то уж очень далеко укатила она от него. За этот Копетдаг и дальше, дальше - в какую-то невозвратность, в ненужность, в непонятность.

А этот маленький "Москвич", такой трогательно ухоженный, такой трогательно бахвалящийся своим "люксовым" исполнением, он не убавил в его глазах Светлану, он что-то даже прибавил к ней, заносчивый штришок к ее характеру приложил. Ей надо было быть заносчивой. Нател! Смотрите!

Она привезла свои вещи, несколько чемоданов, которые он принялся таскать в дом, еще хорошенько не разглядев ее самую. Чемоданы были из дорогих. Нате! Смотрите! Совсем счастливая женщина, ведь совсем счастливая женщина, - такая машина, такие чемоданы...

И вот она вошла в дом, эта счастливая женщина, переступила порог его комнаты. Да, она была прекрасна. Еще как-то иначе причесалась, чем днем, еще как-то иначе светились ее глаза, теперь уж совсем непонятно. Совсем просто была она одета, но это была угаданная простота, такая, что метит женщину высокого вкуса. Она тотчас углядела его смокинг, бабочку, выстроившиеся в ряд туфли.

- А тут сразу два Знаменских, - сказала она. - Но люб мне этот. - Она притронулась рукой к его плечу, у нее была холодная ладонь. - Сразу поедem или чуть побудем вдвоем? - спросила она.

- Чуть побудем.

- А что будем делать? - Обе ее руки теперь лежали у него на плечах, холодя их. Она закинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза. - Милый... Светлый мой... Возьми меня... - Сказала и отошла от него, и стала, вскинув, закинув руки, снимать с себя свое совсем прозрачное платье, которое, оказывается, было не прозрачным, скрывало ее, такую ее. Она раздевалась перед ним, не стыдясь, потому что видела, что он слепнет.

Она шепнула, обернувшись к нему, к ней вдруг чуть-чутьное вернулось ее заикание:

- Люб-имый... Све-етлый мой...

Темно было в этой жалкой комнатке, но с вызвездившимися окнами, где мужчина и женщина, слив неистовый стук своих сердец, спасали друг друга от отчаяния. Темно было, а потому не было этих жалких стен, а были звезды и угадывались горы.

Когда они поднялись и стали одеваться, собираясь в парк, она не стала его уговаривать, чтобы не надевал свои пижонские одежды. Напротив, она сама помогла ему нацепить эту вызывающую бабочку, сняв ее с макового поля.

- Пусть теперь разглядывают нас, - сказала. - Теперь, когда мы сами себе поверили, все нам поверят.

- Почему? - спросил он.

- Что - почему?.. - Свет уже был зажжен, и он увидел, как потемнели ее глаза. - Хочешь понять, почему я?.. Хорошо, я тебе отвечу... Потому... Потому... Потому...

29

Покинув дом Дим Димыча, Ашир побрел по улице, чувствуя, что совсем доколочен зноем и тем, что был все-таки пьян, а пьяным быть ему было нельзя, и он все время себя поверял, одергивал, измучивая этим.

К вечеру сгустились сумерки, и Ашир вдруг заметил на асфальте свою тень. И ужаснулся. Достиг желаемого! Действительно, более жалкого человека, чем обладатель этой тени, придумать было невозможно. Спившийся бродяга только и мог породить такую тень. Даже асфальт ею брезговал, не позволяя к себе по-настоящему приникнуть, как бы оттесняя плечом к арыку. Тень ползла по зыбкой, замусоренной воде, горбилась и дробилась,

распадаясь среди окурков. Как нарочно, арык в этом месте нес особенно грязную воду, собирал тут городской мусор, натекал им на асфальт. Да, тень бродяги была тут к месту. Замер Ашир, попытался распрямиться, ужаснувшись за себя. Он-то распрямился, но тень ему уже не покорилась, ушла под пену из мусора, закружило ее. Решил подождать, когда сползет пена, так и стоял, распрямившийся, ждал испуганно, что тень не распрямится. Распрямилась все-таки, когда сошла пена. Но все равно от жалкого человека пролегла по воде тень. Ну, распрямился, но ведь из последних сил. И покачивалась эта тень, клонило ее из стороны в сторону. Добился своего! Сам себя ужаснулся, собственной тени. Рад? Ведь как здорово прикинулся! Рад, очень рад, до спазм в горле обрадовался.

- Добился своего! - хрипло произнес и поймал себя на том, что вслух произнес эти слова. А что, такие, как он, с такой вот тенью, часто сами с собой вслух беседуют, так вот жестикулируя, как зажестикулировала тень. Добился, добился своего. Но... не слишком ли далеко ты отплыл от берега, Ашир? А, Ашир?..

Скрипнули тормоза, близко и зло. Ашир поднял глаза. Белая "Волга", сверкая новизной, обдала его жаром радиатора, наехав новеньким колесом на его тень. И брызнула тень замусоренной водой своему хозяину в лицо, забрызгала его рубаху. Ашир ладонью утер лицо, глянул из-под пальцев на водителя. Узнал. И свел пальцы, загородил глаза. Так и стоял, закрыв ладонью глаза, ждал, когда машина отъедет. Но водитель заглушил мотор и тоже чего-то ждал. Смотрел, разглядывал этого в жалкой одежде человека, до лба обрызганного мутной водой.

- Не обижайся, Ашир, случайно вышло.

Ашир отвел руку от глаз, стал водить ладонью по рубахе, стирая с нее грязь.

- Все пьешь, Ашир? - Чуть дрогнули полные, жизнелюбивые губы водителя, тронувшись в сочувственной улыбке, но перехотели так улыбаться, двинулись уголками вниз, опускаясь в пренебрежение, в брезгливость, и остановились, явно осторожничая. Замкнулось лицо этого осанистого человека, плотно сидевшего за рулем, едва видным под могучими, с разведенными пальцами руками.

А Ашир все разглаживал рубаху, не поднимая глаза, в которых закипала ярость. Он боялся, что эта ярость выплеснется, он гасил ее, сжимая веки.

- Ну, пей, пей, раз так вышло. Совет хочу тебе дать...

- Какой?

- Если нужна помощь, если нет денег, к старым друзьям надо идти за поддержкой, а не к новым, старый друг лучше новых двух. Я даже перевел ее на туркменский. Вслушайся... Вдумайся... - Жизнелюбивые губы отвердели, обретая свой язык, голос у говорившего стал иным, обретая свой звук. И как-то сразу заважничал этот человек, палец, поучая, поднял, погрозил пальцем Аширу. И стронул машину, снял с тормоза, и она начала двигаться еще до включенного мотора. А палец все продолжал грозить Аширу. И этот палец, мотавшийся перед глазами, раздернул ему веки, за которыми затаивалась ярость. Не смог, не сдержался Ашир, выкрикнул свою ярость. Он ее выкрикнул по-туркменски, из горла добыв звук, будто нож выхватил, будто слил удар со вскриком. Но осанистый тоже выхватил свой нож-вскрик. Они разминулись, обменявшись этими ударами ярости. Укатила машина. Ашир продышался, побрел дальше. Шел и все встряхивал головой, осуждая себя, осуждая, осуждая себя: "А, зачем сказал?!" Он эту фразу то по-русски произносил, то по-туркменски, с одного языка перебрасывая на другой, как перебрасывает кузнец с ладони на ладонь еще не остывшую подкову. "А, зачем сказал?! Зачем про ключ напомнил?!"

Люди, шедшие навстречу, шарахались от Ашира.

Тщательно замкнув дверь, Знаменский и Светлана пустились в путь, и Светлана настояла, чтобы он вел машину. Что там какой-то "мерседес", когда рядом в "Москвиче" такая женщина. Не было прекраснее машины, чем этот "Москвич", не было счастливее человека, чем он.

Они выехали на проспект Свободы, и путь их был прям и прост. Этот парк он знал, туда привела его Нина Чижова, этот парк был на проспекте Свободы и выходил одной из своих сторон к "Домику Неру", где в какой-то там папочке, в каком-то там ящике канцелярского стола лежит заявление-донос, сделавшее его счастливым. Вот как бывает.

Он не сразу повел машину в парк, он чуть-чуть поколесил: проехал мимо скверика с крохотной головой Пушкина, трогательного этого памятника, воздвигнутого на гривенники гимназисток, проехал мимо сквера, где стоял Ленин, не призывающий, а спрашивающий: как вам тут живется-может. Он прощался. Светлана не мешала ему колесить, понимая, догадываясь, зачем это ему нужно. Сбоку поглядывала на него, восхищалась им, радовалась ему, гордилась, но и мрачнела, тоже прощаясь.

А вот и парк. Вот и аллея старых деревьев, сходящихся в вышине кронами. Да, тут былолюдно. Тут прогуливались. Парами, по трое, по четверо, целыми компаниями. Все молодые чаще лица, но вдруг и старички встречались, смешноватые парочки, допотопные совсем, а если говорить про этот город, то доземлетрясенческие.

- Знаешь, а я им завидую, этим старичкам, - сказала Светлана. Они шли, руки соединив, как многие тут шли, пальцы в пальцы. Но тут так шли молодые, совсем молодые, ничего не таившие. Но и они сейчас ничего не таили. - Вот прожили вместе жизнь... Я их всех знаю. Что ни пара, целый роман. Просто, чтобы легко было, никто из них не прожил.

- Ба, знакомые все лица! - сказал Знаменский.

Навстречу им шли Алексей, Лара и Лана. Широко шли, громко, весело беседуя. Алексей вел своих дам под руки, но они повыше его были и они не с ним были, ни та, ни другая, он, этот коренастый, всего лишь сопровождал их, охранял, веселил какими-то байками, но они были свободны в своем выборе. Вот так они шли, свободные, раскрепощенные, знающие себе цену. И вдруг увидели Светлану и Знаменского. Миг всего им нужен был, этим рослым, победоносным, ярко и модно одетым молодым женщинам, чтобы все понять про Светлану и Знаменского. Кинулись было к ним, но остановились, но потом, потеснившись, прошли мимо, уступая дорогу. Они поняли: у этих все серьезно. Лана все же сказала, но без вызова, не подшучивая, даже печально прозвучали слова:

- Ростислав Юрьевич, а ведь и я тоже Светлана.

Алексей ничего не сказал, развел и свел только руки, разведя и сведя своих дам.

Разминулись. Где-то рядом очень громко и беспомощно усердствовал оркестр, больше уповая не на инструменты, а на дружные вскрики музыкантов, которые глоток не щадили. Где-то рядом происходили танцы.

Здесь, на аллее, прохаживались, а где-то рядом метались и кружились, так взбив пыль с воздухом, что фонари над танцевальной площадкой меркли, раскачиваясь.

Светлана шла, прямо, высоко держа голову, глазами, губами откликаясь тем, кто с ней здоровался. С ней здоровались многие. Ее тут знали все. И чего только эти все о ней не

знали?! Всё?! А вот и не всё. Она сейчас для всех тут была новостью, она была счастлива. И все, глядя на нее, на ее спутника, мимолетно, невзначай будто глянув, понимали, что у них, у этой пары, все серьезно, что судьбой тут повеивает. Мимолетний взгляд многое видит, особенно когда от него ничего и не утаивают. А они не утаивали. Шли, сплетя пальцы, шли, как самые молодые тут, и только потому, что были они слишком уж нарядны, заморскими какими-то были, их возраст угадывался, их вызов был очевиден.

- Потанцуем? - спросила Светлана.

- Потанцуем.

Они свернули с аллеи, идя на крик и грохот, вступая в мир иной.

Да, на затертом до черного блеска асфальтовом пяточке был иной мир. Это был остров неистовых. Что тут творилось! Тут все крутилось, металось, клубилось, тут все тела взмокли от пота и все тела казались одним громадным телом, сверкающим глазами, зубами, откровенно себя показывающим. Парни тут были все одинаково одетые - впившиеся джинсы, до пупа распахнутые рубашки с закатанными рукавами. Они и вообще казались одинаковыми, уснувшими какими-то. Но тела их метались, но губы прыгали. И женщины тут были одинаково одеты, как бы по-разному они ни оделись, собираясь на танцы. Их юбочки были взметаны, их кофточки, блузки, та малость, что облекала их груди, все сдвинулось, раздвинулось, они одеты были тут в самих себя. И метались, топтались, спутав, смешав твист, рок, шейк и что-то еще, во что горазды были тела.

- Не страшно? - спросила Светлана.

- А про что тут играют?

Они начали танцевать, вступив в толпу неистовствующих, как входят в волну.

Ну, как они танцевали? Нет, не под эту музыку, которая сама себя ударяла в лоб. У них своя началась музыка. Пожалуй, они танцевали вальс. Медленно ступали, медленно кружились. Никто им не мешал, толпа-волна раздвигалась на их пути. И здесь эти двое были новостью. Такие сюда не заглядывали. Многие тут узнали докторшу. Танцующие стали замедлять свои метания, стали вторить этим, вальсирующим, но не умея так, и совсем останавливались. Смотрели. И музыка стала выравниваться, оркестранты, эти ашхабадские битлы, уняли глотки, будто устали, задумались. Перестали качаться тени от фонарей.

Но все это недолго длилось, просветление это. Какое-то вдруг началось движение в самом темном углу площадки. В середину круга внезапно выскочили несколько расхристанных парней, явно не из танцующих, страшноватых каких-то, с пьяно-сонными поширенными глазами, с красными, как от прорези ножа, губами. Они выскочили, чтобы потеснить Знаменского и Светлану, они и начали их теснить.

- Тирьеккеш! - шепнула Знаменскому Светлана. Она испугалась. - Только не связывайся с ними! Уступи им! Уйдем! - Она потянула его к ограде, в толпу.

Но расхристанные парни, среди которых коноводил маленький, черно заросший и узколобый совсем немолодой человек, не отступились от них, надвигались на них, замыкая в кольцо.

Вдруг из-за спины у Знаменского вынырнул Ашир. Подоспел! Друг! Он шепнул, утягивая, заслоня Светлану:

- Это они! Выползли! Тебя засветили в поездке! Уводи Светлану!

Узколобый увидел Ашира и оскалил шакальи зубы, радуясь удаче:

- И этот тут! Поучим!

Круг замкнулся. Танцующие были отмечены. Круг замкнулся. Все дальнейшее произошло мгновенно, но как при замедленной кино съемке, когда делается все таким запоминающимся, таким разъятым на движения. Узкобый слишком близко оказался возле Светланы. Зловонием пахло от его оскалившихся клыков. Знаменский ударил в этот оскалившийся рот. Попал, свалил. Но тут же подскочил еще кто-то, сверкнув в зажатой ладони крошечным, не страшным кончиком ножа. Страшно вскрикнула Светлана. Крошечный, совсем не страшный кончик ножа мелькнул, невзначай как бы коснувшись Знаменского. Большого он не успел, этот нож, руку с ним железно перехватил Ашир.

А дальше было вот что. Дальше Ашир начал кидать этих расхристанных. Он показывал тут всем, как это надо делать. Один на дюжину. Он давал урок по самбо. Его тело ликовало, металось и ликовало. А Знаменский стал оседать, ноги перестали держать.

- Не дам! Не дам! Не дам! - кричала Светлана, подхватывая его.

А Ашир кидал их, кидал их. Он был страшен. Он был беспощаден. Он был прекрасен. Падавшие вокруг него отползали, кто мог, скуля, вжимаясь в асфальт. Вдруг узкобый, тоже отползший, приподнялся на локте, выдернул что-то из заднего кармана брюк и чем-то прицелился в Ашира. В замедленном кино все замерло. Раздался выстрел. Ашир вздрогнул, задумался и стал падать. И снова началось кино, теперь уже не замедленное. Замелькали кадры, заверещали милицейские свистки, люди, которые в этом парке блюли порядок, вбежали на танцплощадку.

Знаменский высвободился из рук Светланы. Она обрадовалась, отпуская его, оглядывая его, веря, что нож не задел его, страшась разувериться в этом. Боли не было, только кружилась голова и не своими были ноги, когда Знаменский пошел к Аширу. Дошел, наклонился, кольнуло в боку, он упал на колени. Ашир был жив, но смерть белесой полосой растекалась по его лицу. Он узнал Знаменского, успел сказать ему:

- Они выползли... Факт... убийственный... - Вздрогнули его глаза-дульца, закрыли их веки. Ашир Атаев умер.

Знаменский еще не понял этого, он хотел приподнять голову друга и обессилел, упал на бок.

Светлана кинулась к нему. Ни слезинки не было в ее отчаявшихся глазах. Она вспомнила профессию. И она начала сражаться за него. Руки нашли его рану, пальцы ощупали. А губы шептали, запекшиеся, вытончившиеся:

- Не дам! Не дам! Не дам!

Откуда-то выскочил Дим Димыч, - и он тут был, - кинулся к ним, к Знаменскому и Светлане, упал на колени возле Знаменского, к небу поднял глаза.

Выскочил на площадку Алексей. Подбежал, гримасничая, чтобы не заплакать. Втроем они понесли бегом Знаменского, пробежали по аллее через расступающуюся, замершую толпу, выбежали к машине, Светлана кинулась за руль, помчались.

А потом был больничный коридор, по которому, сцепив пальцы, ходила Светлана, все время не отводя глаз от двери в палату. Набегали на глаза слезы, она их не смаргивала. Она была не одна. На скамье сидели, замерев, Дим Димыч, Алексей, рубаха которого была испятнана кровью, были тут и Лана с Ларой, заплаканные, постаревшие.

Отворилась дверь из палаты, и молодой, очень порывистый, даже в шаге победоносный хирург вышел в коридор.

- Будет жить! - сказал он, подходя к Светлане, у которой повисли руки. - Кто-то отвел удар. Везучий он у тебя, Светланушка!..

ЭПИЛОГ (о Знаменском)

Осень. Благословенная пора, когда не жарко в этом знойном городе, когда переводят люди дух и начинают гордиться и восхищаться своим городом, столь обильным плодами, столь щедрым на долгое и ласковое, зиму прихватывающее тепло.

Осень, благословенная осень... И в один из ее благословенных дней у здания школы, где мальчишки прыгали через железную ограду двора, остановился исхудавший, высокий мужчина, по-местному вольготно одетый - выцветшие брюки, просторная рубашка, запыленные сандалеты. Это был Знаменский. Он постоял, посмотрел, как прыгают мальчишки, улыбаясь их смелости. Чуть грустно улыбаясь почему-то. Вспомнил себя тут недавнего, поэтому? Постоял, посмотрел, повспоминал и пошел дальше. Но вскоре остановился. У столба остановился, на котором уцелела, хоть и сильно выцвела, бумажка, сообщающая, что картограф Д.Д.Коноплин "Дает уроки любознательным".

Знаменский прочитал это объявление, потом достал из нагрудного кармана свой замечательный "Золотой Паркер" и приписал на бумажке пониже: "Даю уроки английского и французского. Могу подготовить для поступления в институт иностранных языков и институт международных отношений (МГИМО). Адрес - тот же. Р.Ю.Знаменский".

Потом он перешел к другому столбу, где ветер трепал выцветший листок, и то же самое написал и на этом листке. Потом пошел дальше, приближаясь к своему дому.

Ашхабад - Москва,

1984 - 1985 гг.